



СОЛ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

БЕЛЛОУ

ПОДАРОК ОТ ГУМБОЛЬДТА

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Сол Беллоу

Подарок от Гумбольдта

«Издательство АСТ»

1975

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Беллоу С.

Подарок от Гумбольдта / С. Беллоу — «Издательство АСТ»,
1975 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-147361-7

Классический роман Сола Беллоу. Книга, которую сам автор называл изящно и просто – «смешная история о смерти». Блистательная «черная комедия» о сложных отношениях, связавших великого поэта-саморазрушителя, преуспевающего литератора и циничного умного мафиози. В этом романе увлекательный сюжет соседствует с гениальными размышлениями о смысле и сути искусства, трагедия – с остроумной сатирой, а классический стиль – с элементами постмодернизма.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-147361-7

© Беллоу С., 1975

© Издательство АСТ, 1975

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

72

Сол Беллоу

Подарок от Гумбольдта

Saul Bellow
HUMBOLDT'S GIFT

© Saul Bellow, 1973, 1974, 1975

© Перевод. Г. Злобин, наследники, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Книга баллад, опубликованная фон Гумбольдтом Флейшером в середине тридцатых, имела бешеный успех. Гумбольдт был именно тем, кого все ждали. У себя, на Среднем Западе, я тоже ждал, ждал, признаюсь, с великим нетерпением. Поэт-авангардист, первый из нового поколения, он был хорош собой. Светловолосый, импозантный, серьезный, остроумный, образованный. Все было при нем. Ни одна газета не упустила случая поместить рецензии на его сборник. Его фотография без оскорбительных комментариев появилась в «Таймс», а «Ньюсуик» сопроводил ее похвалой. Я с упоением прочитал «Баллады арлекина». В ту пору я был студентом Висконсинского университета и буквально бредил литературой. Гумбольдт научил меня по-иному смотреть на вещи. Меня переполнял восторг. Завидуя удаче Гумбольдта, его таланту и славе, я в мае отправился на Восток посмотреть на него. Может быть, даже познакомиться с ним. Поездка на «Серой гончей» через Скрантон занимала около пятидесяти часов. Но это не имело ни малейшего значения. Окна автобуса были открыты. Никогда прежде я не видел настоящих гор. На деревьях распускались почки. Пейзаж был что бетховенская «Пастораль». Я чувствовал, как зелень словно омывает меня изнутри. Манхэттен мне тоже понравился. Я снял комнату за три доллара в неделю и нанялся разносчиком «платяных щеток Фуллера». Жизнь улыбалась мне. Недолго думая я накатал своему кумиру длинное письмо, после чего был приглашен в Гринвич-Виллидж поговорить о литературе, о новейших ее теориях-течениях. Жил Гумбольдт на Бедфорд-стрит, недалеко от знаменитого ресторана «Чамли». Сначала он угостил меня черным кофе, потом в ту же чашку налил джина. «Ты вроде ничего, Чарли, – сказал он, – правда, немного пронырливый, нет? Думаю, ты рано полысеешь. И такие красивые глаза – большие, чувственные. Есть в тебе восприимчивость». Он первым пустил в оборот это редкое словечко. Говорить о восприимчивости вошло в моду. Вскоре Гумбольдт познакомил меня с народом из Деревни и раздобыл книг для рецензирования. Я всегда любил и почитал его.

Гумбольдт пользовался известностью лет десять. В конце сороковых его начали забывать. В начале пятидесятых я сам стал знаменитостью. Даже заработал кучу денег. Ах, деньги, деньги! Из-за них Гумбольдт заимел на меня зуб. Последние годы своей жизни, в те дни, когда не сидел в психушке и был способен разговаривать вразумительно, он метался по Нью-Йорку, разнося нехорошие слухи обо мне и моем «миллионе долларов». «Возьмите этого Чарли Ситрина. Приехал из Висконсина, из Мэдисона, у меня под дверью стоял. А теперь имеет миллион. Какой писатель или вообще – интеллектual гребет такую кучу денег? Что – Кейнс? Экономист? Прошу вас... Кейнс – мировая величина, научный гений, принц Блумсбери. Женат, между прочим, на русской балерине. К таким деньги сами текут. Но этот Ситрин – кто он такой?... А ведь мы с ним когда-то друзьями были, – добавлял Гумбольдт в интересах исторической истины. – Вдобавок есть в нем что-то извращенное. Деньжища нагребастал, а носа нигде не жает. Зачем он в Чикаго? Боится, что его на чистую воду выведут?»

Когда он бывал в своем уме, то не уставал честить меня в хвост и гриву. Это ему хорошо удавалось.

Я, однако, никогда не тянулся к большим деньгам, видит Бог, никогда. Мне хотелось приносить людям добро. Я мечтал совершить поступок. Желание творить добро возвращает меня к раннему детству, к странному ощущению бытия. Погруженный в неприветливые глубины жизни, человек отчаянно, ощупью, охваченный нервной дрожью, ищет смысл, хотя прекрасно понимает, как обольстительны одежды иллюзий и что за разноцветными стекляшками-побрякушками скрывается холодный, безнадежный свет вечности. Я был буквально помешан на таких вещах. Гумбольдт, в сущности, знал о моем пунктике, но к концу жизни не выказывал ни симпатии, ни сочувствия, ни сострадания. Больной, раздражительный, он только подчеркивал противоречие между прекраснодушными мечтами и большими деньгами. Но деньги делал не я, они делались сами. В силу каких-то трагикомических причин деньги делала капиталистическая система. Их делало наше общественное устройство. Вчера я прочитал в «Уолл-стрит джорнал» о том, сколько печали в изобилии. «За все пять веков документально подтвержденной истории человечества никогда не было такого количества богатых людей». Пять веков бедности совершенно извратили человеческое сознание. Сердце не приемлет такие перемены. Временами оно отказывается принять это как факт. Когда начинались мартовские оттепели, мы, чикагские мальчишки, искали сокровища под снежными завалами вдоль поребриков. Бурлящие потоки грязной воды бежали под землю, и можно было разжиться замечательной добычей – бутылочными крышками, мелкими автомобильными частями, монетой с головой индейца. Прошлой весной я, пожилой мужчина, поймал себя на том, что сошел с тротуара, иду по обочине и высматриваю – что? Что я делаю? А если бы я высмотрел десятицентовик? Или полдоллара? Как бы я поступил? Не знаю, почему во мне проснулась мальчишечья душа, но она проснулась. Да, все тает, уходит в сточную канаву – снег, совесть, рассудительность, зрелость. Интересно, что сказал бы на это Гумбольдт?

Мне нередко передавали его оскорбительные замечания в мой адрес, и чаще всего я соглашался с ним. «Слышали? Ситрину дали Пулитцеровскую премию за книгу об Уилсоне и Тьюмэлти. Но чего он стоит, этот Пулитцер? Премия для мелкой птицы, для неоперившихся птенцов. Игрушечная награда, придуманная тупицами и мошенниками. Тебе ее выдадут, и ты станешь ходячей пулитцеровской рекламой. Даже некрологи отдадут рекламой: «Скончался лауреат Пулитцеровской премии...» – Это он верно подметил, думал я. – А Чарли дважды лауреат. Сначала та слезливая пьеска на Бродвее – помните? Целое состояние сразу нажил. Потом права на экранизацию. Он, конечно, выбил свой процент от валового сбора, будьте уверены! Я не говорю, что он занимается плагиатом, но все равно малость своровал. Своего героя с меня списал. Дикость? Само собой. Правда, небезосновательная».

Ах, как он говорил! Часами длились его монологи-импровизации. Чемпион по остроумию и злословию. Если вас распатронил Гумбольдт, считайте, что вам крупно повезло. Все равно что стать натурой для портрета Пикассо с двумя носами или потрошеного цыпленка Сутена. И его всегда вдохновляли деньги. Обожал говорить о богатых. Вращенный на «желтых» нью-йоркских газетенках, он любил распространяться о прошлогодних громких скандалах, о Дэдди Браунинге и его красотках, о Гарри Доу и Эвелин Несбитт, о «джаз эйдже» и Скотте Фицджеральде. Он досконально знал подробности жизни наследниц Генри Джеймса. Временами он сам строил несуразные планы сколотить состояние. Однако настоящее его богатство составляла начитанность. Он, должно быть, прочитал несколько тысяч книг. Говорил, что история – это кошмар, что мечтает урвать несколько часов для здорового сна. Благодаря бессоннице он стал образованным человеком. До утра засиживался над томами Маркса и Зомбарта, Тойнби, Ростовцева, Фрейда. Говоря о богатстве, он сравнивал *luxus* древних римлян с накоплениями американских протестантов. По ходу дела обычно упоминал евреев –

джойсовских евреев в шелковых цилиндрах – и заканчивал замечаниями о золотой маске Агамемнона, которую якобы раскопал Шлиман. Да, Гумбольдт умел и любил поговорить.

Его отец, венгерский еврей-иммигрант, служил в Мексике, стране хороших шлюх и хороших лошадей, кавалеристом у Першинга и вместе с ним гонялся по всему Чиуауа за Панчо Вильей (не мой родитель, маленький, вежливый, сторонящийся таких вещей). Его старик взял Америку штурмом. Гумбольдт рассказывал о сапогах, сигналах горна, бивуаках. Потом в жизнь отца вошли лимузины, роскошные отели, особняки во Флориде. Он жил в Чикаго во времена послевоенного бума. Он успешно занимался недвижимостью, держал шикарный номер в отеле «Эджуотер-Бич». Летом присылал за сыном. Гумбольдт тоже хорошо узнал Чикаго. То были дни Хака Уилсона и Вуди Инглиша. Флейшеры снимали ложу на стадионе «Ригли-филд» и ездили на игры в новехоньких «пирс-эрроу» или «испано-сюза» (Гумбольдт бредил автомобилями). Там были также красавец Джон Хелл-младший и симпатичные девочки в трусиках без застежек, были гангстеры и виски и полутемные банки с колоннами по фасаду на улице Ласалль, где в стальных сейфах хранились деньги, что приносили железная дорога и продажа жаток. Я совсем не знал этого Чикаго, когда меня привезли из Аплтона. Играл с польскими мальчишками в чехарду под путями надземки, а Гумбольдт в это время обжирался у Хенричи шоколадным тортом с кокосовыми орехами и зефиром. Тогда я понятия не имел, какая она внутри, эта кондитерская.

Однажды мне довелось увидеть Гумбольдтову маму. Это было в Нью-Йорке, в ее темной квартирке на Уэст-Энд-авеню. Чертами лица она походила на сына. Безмолвная, толстая, большегубая, закутанная в халат. Седые кустистые волосы, как у фиджийцев. На тыльной стороне ладоней и на смуглом лице большие темные пигментные пятна, такие же большие, как ее глаза. Гумбольдт наклонился и что-то говорил ей, но она молча смотрела на нас немым страдальческим взглядом. Мы вышли на улицу, и Гумбольдт сказал угрюмо:

– Она отпускала меня в Чикаго, но велела шпионить за стариком. Записывать номера его банковских счетов, расходных ведомостей, всякую такую муть, и брать на заметку имена его блядюшек. Собиралась подать на него в суд. Совсем свихнулась, сам видишь. Но тут как раз кризис, отец разорился. А скоро и вообще отдал концы во Флориде. От сердечного приступа.

Таков был фон его остроумных жизнерадостных баллад. Гумбольдт страдал, по его собственному диагнозу, маниакально-депрессивным психозом. Он держал дома собрание сочинений Фрейда и следил за журналами по психиатрии. Прочитав «Психопатологию обыденной жизни», убеждаешься, что обыденная жизнь действительно сплошная психопатология. Это вполне устраивало Гумбольдта. Он часто цитировал короля Лира: «Бунты в городах, в деревнях – раздоры, и порвана связь меж сыном и отцом... – выделяя голосом «сыном и отцом». – Губительные беспорядки бредут за нами до могилы».

Именно туда добрались за ним губительные беспорядки семь лет назад. По мере того как выходят новые поэтические антологии, я спускаюсь в нижние этажи магазинов Брентано и перелистываю их. Стихов Гумбольдта нет. В сборниках, которые составляют подонки и политиканы, распорядители литературных похорон, не находится места для старины Гумбольдта. Выходит, его мысли, чувства, писания ничего не стоят? Выходит, его набег за черту в надежде ухватить за хвост Красоту ни к чему не привели, только измучили и измотали его? Он умер в паршивой гостинице неподалеку от Таймс-сквер. А я, писатель другого рода, живу, чтобы оплакивать его, процветая здесь, в Чикаго.

Благородная идея стать Американским поэтом делала из Гумбольдта фигуру, мальчишку, шута, дурака. Мы жили так, как живут богема и студенты-выпускники – развлекаясь и разыгрывая друг друга. Может быть, Америке не нужно искусство и другие чудеса внутреннего мира. У нее хватает чудес осязаемых. США – это крупное предприятие, очень крупное. Чем оно больше, тем мы меньше. Потому Гумбольдт и вел себя как комедиант и клоун. Иногда его эксцентричность на время затихала, он останавливался и впадал в задумчивость. Старался

думать о себе отдельно от Америки (я тоже старался делать это). Я видел, он размышляет о том, что делать между *тогда* и *теперь*, между рождением и смертью, чтобы ответить на некоторые большие вопросы. Такие размышления отнюдь не способствовали его душевному равновесию. Он глотал таблетки и напитки. В результате ему пришлось несколько раз пройти курс шоковой терапии. Он расценивал это как тяжбу «Гумбольдт против Безумия». Безумие было куда сильнее.

Последнее время я сам был не в лучшей форме, и вдруг Гумбольдт подал знак из могилы, и в моей жизни произошли крутые перемены. Несмотря на разрыв и пятнадцатилетнее отчуждение, он оставил мне кое-что в своем завещании. Я получил наследство.

* * *

Он был большой забавник, Гумбольдт, забавник, который постепенно сходил с ума. Патологические отклонения в нем не замечали только те, кто слишком громко смеялся его хохмам. Этот красавец мужчина с румяным лицом, этот великий сумасброд и балагур с расстроенной психикой, человек, к которому я привязался, всеми силами души изживал свой Успех. Немудрено, что умер он под знаком Неудачи. Чего еще ожидать, если пишешь эти существительные с прописной буквы. Лично я ставлю некоторые святые слова в более скромное положение. По-моему, Гумбольдт злоупотреблял такими понятиями, как Поэзия, Красота, Любовь, Бесплодная земля, Отчуждение, Политика, История, Бессознательное. И разумеется, Маниакально-Депрессивный Психоз – непременно с большой буквы. Он считал, что самой великой маниакально-депрессивной личностью в Америке был Линкольн. А Черчилль, когда впадал в собачье, как он выражался, настроение, являл собой классический пример психопата. «Вроде меня, Чарли, – добавлял он. – Если Энергия – это Наслаждение, а Радость – Красота, психопат знает о Наслаждении и Красоте больше, чем кто бы то ни было. Кто может быть жизнерадостнее его, кто умеет так наслаждаться жизнью? Что, если стратегия Психики в том и состоит, чтобы усугублять Депрессию? Разве Фрейд не говорил, что Счастье – это не что иное, как ремиссия Боли? Чем сильнее Боль, тем полнее Счастье. У всего этого есть свои начала, и Психика причиняет Боль, исходя из определенной цели. Человечество дивится Жизнелюбию и Красоте иных личностей. Если эта маниакально-депрессивная личность ускользнула от Фурий, она непобедима. Такой человек покоряет Историю. Его состояние – результат работы тайного механизма Бессознательного. Толстой где-то утверждает, что великие люди и цари – это рабы Истории. Думаю, он не прав. Не будем обманываться, короли – больны, но больны высокой болезнью. Маниакально-депрессивный герой своими деяниями увлекает человечество за собой».

Бедный Гумбольдт недолго увлекал нас своими деяниями. Он так и не стал светилом века. Депрессия сделалась вечной его спутницей. Кончились времена маний и стихов. Через три десятилетия после появления «Баллад арлекина» он умер от сердечного приступа в постели на Западных сороковых, куда дотянулся район бродяжьего Бауэри. В тот вечер я был в Нью-Йорке. Приехал по делам, считай, пустяковым. Забытый всеми Гумбольдт жил тогда в занюханных кварталах Илскомб. Я потом побывал там – так, посмотреть. Муниципалитеты сваливали туда стариков, существующих на одно пособие. Гумбольдт умер в душную жаркую ночь. Мне было не по себе даже в «Плазе». Воздух был напоен углекислым газом. Идешь по улице – а на тебя капает с ревуших кондиционеров. Страшная была ночь. Наутро на борту «Боинга-727», которым я летел в Чикаго, раскрыл «Таймс» и увидел некролог.

Я знал, что Гумбольдт скоро умрет: случайно видел его два месяца назад на улице. Смерть уже коснулась его постаревшей скорчившейся фигуры. Он жевал сухой подсоленный кренделек. Это был его ленч. Он не заметил меня за припаркованным автомобилем, а я не подошел к нему – чувствовал, что не могу. На этот раз у меня было настоящее дело на Восточном побережье: готовил статью для журнала, а не высматривал цыпочку на ночь. Утром с сена-

торами Джавитсом и Робертом Кеннеди я облетел на вертолете береговой охраны весь Нью-Йорк. Потом принимал участие в политическом завтраке в «Таверне на лужайке» в Центральном парке, где радовались жизни собравшиеся знаменитости. Я тоже был, как они говорят, «в свежей форме». Если я плохо выгляжу, мне кажется, будто меня поколотили. Но я знал, что выгляжу нормально. Кроме того, в кармане у меня были деньги, и я прогуливался по Мэдисон-авеню, глаза на витрины. Если мне приглянется галстук у Кардена или Гермеса, я покупаю его, не спрашивая о цене. Живот у меня был плоский, как гладильная доска. На мне были шорты из лучшей хлопчатобумажной ткани по восемь баксов за пару. В Чикаго я вступил в гимнастический клуб, стараясь поддержать ту самую форму. Прыгал с ракеткой по площадке, играл в ракетбол. Как же я мог показаться Гумбольдту? Это было бы чересчур. Пролетая в вертолете над Манхэттеном, я думал, что плыву в лодке со стеклянным днищем над тропическими рифами. Гумбольдт в тот момент, наверное, перебирал пустые бутылки, чтобы глотком сока разбавить утреннюю порцию джина.

После смерти Гумбольдта я стал еще более рьяно заниматься физкультурой. В прошлогодний День благодарения мне удалось убежать от уличного грабителя. Он выскочил из темного переулка, и я дал деру. Это было сугубо рефлекторное действие. Я отпрыгнул от него и пустился вдоль по улице. В детстве в команду бегунов меня бы не взяли. А тут – нате! Ломая пятый десяток, я, как выяснилось, способен сделать резкий рывок и помчаться сломя голову. В тот вечер я заявил: «Кого хочешь в стометровке побью». И перед кем же похвастался быстротой ног, как полагаете? Перед молодой женщиной по имени Рената. Мы лежали с ней в постели. Я рассказал ей, как резво взял старт и понесся как ветер. А она ответила, точно реплику на сцене подала (ах, эта нежная обходительность наших милых дев!): «Ты в потрясающей форме, Чарли. Ростом, может, не вышел, зато крепкий, солидный и к тому же элегантный». Рената поглаживала мои голые бока. Мой приятель Гумбольдт мертв, и косточки его сгнили, и ничего от него не осталось, кроме горсточки праха, а Чарли Ситрин бегаёт быстрее чикагского хулигана, он в потрясающей форме и лежит рядом с полногрудой подружкой. Этот Ситрин умеет делать упражнения по системе йогов и научился стоять на голове, чтобы не воспалялись шейные суставы. Рената знает о низком содержании холестерина в моем организме. Я поведал ей также, что простата у меня – как у молодого, а ЭКГ – лучше не бывает. Иллюзии и идиотские медицинские заключения придавали сил, и я тискал Ренату на мятых простынях. Она смотрела на меня с любовью и обожанием. Я вдыхал упоительные запахи ее косметики и мазей, наслаждался достижениями американской цивилизации, подкрашиваемой теперь цветами Востока. Но где-то в дальних закутках мозга я видел Ситрина на променадах воображаемого Атлантик-Сити. Это был совсем другой Ситрин – сенильный, сгорбленный, слабый старикашка. Его везут в кресле-коляске, а чуть в стороне мимо него бегут по воде соленые гребешки, такие же невыразительные, как он сам. Однако кто это толкает мою коляску? Неужели Рената? Та самая, которую я взял с боем, внезапным натиском, как брали города танки генерала Паттона? Рената – замечательная женщина, но представить ее за моей инвалидной коляской? Нет, это невозможно. Это не она, ни в коем случае.

В Чикаго Гумбольдт стал для меня самым важным мертвецом. Признаться, я вообще трачу массу времени на размышления об ушедших людях, на общение с ними. Вдобавок мое имя связывали с его именем, потому что по мере удаления прошлого люди, занятые изготовлением радужной ткани культуры, начали ценить сороковые. Прошел слух, что в Чикаго еще жив мужик, который был другом фон Гумбольдта Флейшера, и зовут его Чарлз Ситрин. Пишущая братия, дилетанты, сочинители присылали мне письма или прилетали в Чикаго, чтобы поговорить о нем. Надобно заметить, что в Чикаго мой покойный друг представляет собой естественную тему для раздумий и дискуссий. Стоящий на южной оконечности Великих озер (двадцать процентов мировых запасов пресной воды!), мой город с его материальным гиган-

тизмом является средоточием проблемы поэзии и духовной жизни Америки. Многое видится здесь яснее, отчетливее, словно сквозь свежую, прозрачную воду.

«Мистер Ситрин, чем вы объясняете взлет и угасание фон Гумбольдта?»

«Молодые люди, как вы намерены использовать сведения о Гумбольдте? Писать статьи и делать себе карьеру? Но это же капиталистический подход».

Я вспоминаю Гумбольдта гораздо серьезнее и печальнее, чем может показаться из этого повествования. Немногие удостаиваются моей любви. Потому я не вправе забыть ни об одном из них. Гумбольдт часто снится мне, это верный знак привязанности и любви. Каждый раз, когда он является мне во сне, меня охватывает глубокое волнение, и я плачу. Однажды мне приснилось что мы случайно встретились в аптеке Уелана в Гринвич-Виллидже, на углу Шестой и Восьмой авеню. Он был не тем опустившимся опухшим существом, которого я украдкой видел на Сорок шестой, а нормальным крепким мужчиной средних лет. Гумбольдт сидел возле меня рядом с фонтанчиком с кока-колой. Я расплакался и спросил:

– Где ты пропадал? Я думал, ты умер.

Спокойный, мягкий, он был доволен моими словами.

– Теперь я все понимаю, – сказал он.

– Что – все?

– Все, – повторил он. Ничего больше я из него не вытянул, но все равно плакал от счастья.

Само собой, это был только сон, такой, какие снятся, когда на душе неспокойно. Но и когда я бодрствую, характер у меня не самый сильный. Наград мне за мой характер не давали. Такие вещи совершенно очевидны мертвым. Они покинули туманную, полную проблем сферу земных забот и интересов. Подозреваю, что, когда человек жив, он словно смотрит изнутри своего эго, из нашей сердцевины. Мертвый, он перемещается на периферию и смотрит внутрь. Встретишь в заведении Уелана старого приятеля, приободрить его, все еще тянущего лямку самости, заверением, что, когда придет его черед отбыть в вечность, он поймет, что и как произошло, и дело с концом.

Поскольку это далеко от Науки, мы стараемся об этом не думать.

Кажется, заговорился? Ладно, попытаюсь подытожить. Итак, в двадцать два года фон Гумбольдт Флейшер опубликовал свою первую книгу – те самые баллады. Иной мог бы подумать, что выходец из семьи евреев, иммигрантов и неврастеников с Девяносто восьмой улицы в Уэст-Энде – его папаша-чудик охотился за Панчо Вильей, волосы у него, как это видно на фотографии, которую показал мне Гумбольдт, были густые, курчавые, так что военная фуражка едва держалась на голове; мамочка же, родом из тех крикливых многодетных семейств Поташей или Перлмуттеров, знавших только бейсбол и бизнес, в молодости была смугла и привлекательна, но потом сделалась мрачной, полупомешанной, немой как рыба старухой – что у такого молодого человека будет топорный язык, что его периоды не придутся по вкусу привередливым критикам-гоям, стоящим на страже Протестантского Правопорядка и Жантильной Традиции. Ничуть не бывало. Стих у Гумбольдта был правилен, музыкален, остроумен, человечен. Я назвал бы его Платоническим. Говоря «Платонический», я разумею то первоначальное состояние совершенства, в которое жаждет возвратиться человечество. Да, стиль у Гумбольдта был безупречен. Жантильной Америке незачем было тревожиться. Она была в смятении, ожидала пришествия Антихриста из трущоб. А этот Гумбольдт Флейшер сделал Америке любовное подношение. Он оказался джентльменом. Причем очаровательным. Поэтому его так хорошо встретили. Его хвалил Конрад Эйкен. Благоклонно отозвался о его стихах Т.С. Элиот. Даже у Айвора Уинтерса нашлось доброе слово. Что до меня, я занял тридцать долларов и отправился в Нью-Йорк, чтобы поговорить с ним на Бедфорд-стрит. Было это в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. У Кристофер-стрит мы сели на паром и пересекли Гудзон. В Хобокене мы ели моллюсков и толковали о проблемах современной поэзии. Вернее, говорил Гумбольдт, целую лекцию прочитал. Насколько прав Сантаяна? Действительно ли современная поэзия – это вар-

варство? У нас больше материала, чем у Гомера или Данте, но современный поэт разучился идеализировать. Быть христианином – невозможно, язычником – тоже. Вот и оказываешься сам знаешь где.

На пароме я услышал, что великие люди и великие явления могут быть настоящими. Разговор о Величии требует величественных жестов, и Гумбольдт жестикулировал, жестикулировал величественно. Он говорил, что поэты должны остерегаться, иначе расшибут лоб об американский прагматизм. Он обрушил на меня потоки слов, а я слушал как зачарованный, задыхаясь в своем шерстяном костюме, доставшемся мне от старшего брата Джулиуса. Штаны были просторны в поясе, и пиджак топорщился, потому что брат был широк в груди и с брюшком. Я вытирал пот с лица платком, на котором было вышито «Д».

Гумбольдт в ту пору тоже начал набирать вес. Широкоплечий, но узкобедный, впоследствии он отрастил животик, как у Бейба Рута. Он стоял или сидел на месте, но ноги у него находились в постоянном движении. Ступни смешно дергались, топтались, егзили. Внизу – комичное шарканье, вверху – царственное достоинство и какое-то ненормальное обаяние. Своими серыми, широко поставленными глазами он смотрел на тебя словно выплывший на поверхность кит. В крепко сбитой фигуре Гумбольдта чувствовалась утонченность: он был тяжеловат, но быстр в движениях, а на его смуглом лице проступала бледность. Каштановые с золотым отливом волосы спадали с макушки двумя светлыми прядями; пробор между ними был чуть темнее. На лбу у него был шрам. Мальчишкой он упал на полоз конька, даже кость задел. Бледные губы немного выпячивались, а во рту виднелись какие-то недоразвитые, будто молочные, зубы. Гумбольдт выкуривал сигарету до последней крошки табака; галстук и лацканы пиджака были в дырочках от упавших искр.

Гумбольдт постоянно возвращался к теме Успеха. Что об этом знал я, деревенщина? Он натаскивал меня, как щенка. «Только вообрази, – говорил он, – что это значит – сразить Деревню наповал своими стихами, а потом выдать несколько критических статей в «Партизан ревью» и «Саузерн ревью»?» Он много порассказал мне о модернизме, символизме, Йитсе, Рильке, Элиоте. Выпить Гумбольдт тоже умел. И за девочками приударял дай Бог каждому. Нью-Йорк в ту пору был очень русским городом. Куда ни сунься, везде Россия. Как выразился Лайонел Абель, громадный город хотел переехать в другую страну. Нью-Йорк мечтал бросить Северную Америку и слиться с Советской Россией. С бейсбола и Бейба Рута он запросто перескакивал к Розе Люксембург, Беле Куну, Ленину. В те минуты мне казалось, что, если немедленно не почитаю Троцкого, со мной и разговаривать нечего. Гумбольдт говорил о Зиновьеве, Каменеве, Бухарине, о Смольном институте, шахтинских инженерах, московских процессах. Цитировал «От Гегеля до Маркса» Сидни Хука, ленинское «Государство и революция». Кстати, он сравнивал себя с Лениным. «Я понимаю, что чувствовал Ленин, – говорил он, – когда в октябре воскликнул: “Es schwindelt!”»¹. Нет, Гумбольдт не кружил никому голову, он опьянел от успеха как девочка после первого вальса, хотя крутой был мужик. «У меня тоже от успехов кружится голова. Столько идей, что не могу заснуть. Не хлебну чего-нибудь на ночь, комната как карусель. У тебя тоже голова пойдет кругом, так что готовься». Умел льстить, поганец.

Взволнованный до умопомрачения, я напускал на себя скромный вид, но был в состоянии постоянной готовности сразить всех наповал. Каждое утро нас собирали в конторе Фуллера для накачки, и мы говорили хором: «Я весел и бодр, а ты?» Меня незачем было взбадривать. Я рвался в бой, рвался постучать домохозяйке в дверь, посмотреть ее кухню, поговорить о том о сем. Болезненная мнительность немолодых евреек была мне тогда в новинку. Я внимательно выслушивал жалобы на то, что у них трясутся руки и опухают ноги. Они рассказывали о замужестве, детях. Сетовали на дороговизну и нехватку денег, толковали о болезнях и смерти. С

¹ «Голова кружится!» (нем.)

чашечкой кофе в руках я старался определить их принадлежность к той или иной социальной группе. Большинство составляли мелкие буржуа, жаждущие пробиться наверх, мастерицы нещадно допекать мужей, сживать их со свету, истерички и прочие. Но социологический скепсис не мешал мне ретиво торговать щетками, а по вечерам так же ретиво пешкодралом добираться до Деревни, чтобы послушать, как ораторствуют лучшие в Нью-Йорке интеллектуалы – Шапиро, Хук, Рав, Хаггинс и Гамбейн. Оглушенный их красноречием, я чувствовал себя кошкой, забредшей на вечер декламации. Но Гумбольдт говорил лучше всех. Он был Моцартом в ораторском искусстве.

На пароме Гумбольдт сказал мне: «Я добился Успеха слишком рано и теперь расплачиваюсь за это». Потом как с цепи сорвался и пошел, и пошел – Фрейд, Гейне, Вагнер, Гете в Италии, казненный брат Ленина, костюмы Дикого Билла Хикока, «Нью-Йоркские гиганты», Ринг Ларднер о большой опере, Суинберн о телесных наказаниях. Джон Д. Рокфеллер о религии. В гуще его изобретательских вариаций неизменно и волнующе выплывала Главная тема. Улицы в тот день были серенькие, пепельные, зато палубу парома заливал свет слова. Гумбольдт был неряшлив и величествен, его мысли перекачивались, как вода за бортом, вставляли торчком каштановые кудри на голове, лицо бледное, напряженное, руки в карманах, ноги в кедах ходят ходуном.

«Будь Скотт Фицджеральд протестантом, – говорил Гумбольдт, – Успех не так сильно потрепал бы его. Возьми Рокфеллера-старшего, тот умел управляться с Успехом. Просто утверждал, что все деньги дал ему Бог. Конечно, это рассуждение экономиста. Чистой воды кальвинизм». Заговорив о кальвинизме, он неизбежно коснулся Добродетели и Порока. От Порока он перешел к Генри Адамсу, который заявлял, что через несколько десятилетий технический прогресс все равно сломит нам шею; от Генри Адамса – к вопросу о роли личности в эпоху революций, массовых движений и «плавильных котлов», оттуда обратился к Токвилю, Горацию, Элгару. Помешанный на кино, Гумбольдт не пропускал ни одного номера «Сплетен за экраном». Он восторженно вспомнил, как Мэй Марри стояла на сцене Театра Маркуса Леви в своем усыпанном блестками платье и приглашала ребятишек навестить ее в Калифорнии. «Играла заглавные роли в «Королеве Тасмании» и «Волшебнице Цирцее», а кончила в богдельне. Или возьми того актера – как его звали, не помнишь? – который покончил с собой на больничной койке – взял вилку и башмаком заколотил ее себе в сердце. Жалко беднягу!»

Да, печальная история. Правда, я не очень-то задумывался над тем, сколько народу отдавало концы. Был на редкость счастлив. Мне еще не приходилось быть в доме у писателя, пить с ним неразбавленный джин, никогда не ел вареных моллюсков, не вдыхал запах прибоа. Я не слышал, чтобы так неуважительно отзывались о бизнесе и его способности делать каменными сердца. Гумбольдт великолепно говорил о гнусности богатства. На сверхбогатеев надо смотреть, укрывшись за щитом искусства. Его монологи напоминали скорее ораторию, в которой он исполнял все сольные партии. Воспаря все выше и выше, он заговорил о Спинозе, о том, как наполняют душу радостью вечное и бесконечное. Таков был Гумбольдт, получивший высшие баллы по философии от самого Морриса Р. Коэна. Вряд ли он пускал в ход все свое красноречие перед кем бы то ни было, кроме меня, парня из провинции.

Покончив со Спинозой, Гумбольдт вдруг помрачнел.

– Есть подонки, которые ждут не дождутся, когда я мордой об пол, – сказал он. – У меня миллион врагов.

– За что же они на вас взъелись?

– Едва ли ты читал об обществе каннибалов, об индейцах квейнаутлах. Когда юноша проходит у них обряд инициации, он впадает в иступление и поедает человечину. Но если допускает ошибку в ритуале, племя терзает его на части.

– Неужели только из-за стихов миллион врагов?

– Хороший вопрос, – ответил он, но по всему было видно, что на самом деле он думает иначе. Голос у Гумбольдта дрогнул, как будто он взял одну-единственную фальшивую ноту в его превосходно настроенной клавиатуре. – Я могу воображать, что принес свой дар на алтарь культуры, но они смотрят на это по-своему.

Нет, вопрос не был хорошим. Раз я его задал, значит, не знаю, что такое Зло, а если не знаю, грош цена моему восхищению этим человеком. Но, услышав ту неверную ноту, я понял, что должен научиться защищать себя. Гумбольдт словно открыл некий клапан, и на него стала изливаться моя любовь, причем изливаться с ужасающей быстротой. Если мой пыл иссякнет, я ослабею и меня сомнут. «Ага, – подумал я, – он хочет целиком подчинить меня себе. Надо смотреть в оба». В тот памятный вечер, когда успех пришел ко мне, Гумбольдт пикетировал «Театр Беласко». Его только что выпустили из Белвью. Поперек улицы была растянута реклама, составленная из сотен и сотен электрических лампочек: «“Фон Тренк” Чарльза Ситрина». Я прибыл при полном параде, а меня встретила орава Гумбольдтовых дружков, подпевал и уличных зевак. Я со своей дамой вылез из такси и кое-как протиснулся к входу. Полиция едва сдерживала толпу. Дружки орали, свистели, строили рожи. Сам Гумбольдт держал полотняный плакат и поднимал его, как крест. Надпись гласила: «Человек, сочинивший эту пьеску, – предатель». Буквы растеклись, но все равно хорошо читались. Полиция оттесняла демонстрантов все дальше и дальше, и мы с Гумбольдтом не столкнулись лицом к лицу.

– Может, сказать полицейским, чтобы его забрали? – спросил помощник режиссера.

– Не надо, – ответил я, взволнованный и разобиженный. – В свое время я был его протеже. Нас даже считали приятелями. Сукин сын, сумасшедший! Оставьте его в покое.

Демми Вонгель, дама, которая была со мной, сказала:

– Вот это по-мужски, Чарли! Молодец!

«Фон Тренк» не сходил с бродвейской сцены восемь месяцев. Целый год я был в центре внимания публики, но это ничему меня не научило.

* * *

Гумбольдт умер в Илскомбе, в двух шагах от «Беласко». Я представляю его последний вечер. Он сидит на кровати в своей квартирке и, вероятно, читает! Две книги он не продал – стихи Йитса и гегелевскую «Феноменологию духа». К духовной пище этих авторов-визионеров он добавляет «желтую» «Дейли ньюс» и «Пост». Он в курсе спортивных событий и ночной жизни города, передраг в высшем свете и делах семейства Кеннеди, цен на подержанные автомобили и новых объявлений о найме на работу. Несмотря на отчаянное положение, у него были нормальные американские интересы. Потом, приблизительно в три утра – к концу его мучила бессонница, – Гумбольдт решил вынести мусор и в лифте почувствовал, что прихватило сердце. Его качнуло, и он спиной нажал все кнопки на панели, включая кнопку экстренного вызова. Зазвенел звонок, дверь лифта открылась, и он вывалился на лестничную площадку. Из ведра покатались банки, бутылки, посыпалась кофейная гуща. Он задышался, рвал рубашку на груди. Прибывшие полицейские повезли его в больницу, но там отказались принять мертвого. Тогда его переправили в морг. В морге не нашлось знатоков современной поэзии. Имя фон Гумбольдт Флейшер никому ничего не говорило. Так он и лежал, холодеющий, еще один невостреченный бесхозный жмурик.

Недавно я навестил на Кони-Айленде его дядю Вольдемара. Старый лошадиный жил в доме для престарелых.

– Копы обчистили Гумбольдта, – сказал он. – Взяли деньги, часы, даже вечное перо. Стихи он только пером писал, а не шариковой.

– Вы уверены, что у него были деньги?

– А как же! Без сотни в кармане из дома не выходил. Сам знаешь, как он насчет денег. Жалко малого. Как мне его не хватает!

Я чувствовал то же, что и Вольдемар. Смерть Гумбольдта тронула меня больше, чем мысль о собственной смерти. Он заслужил, чтобы его оплакивали, не даром приобрел значительный вес в обществе; Гумбольдт отразил самые важные, самые серьезные человеческие чувства. Таких, как он, не забывают. Но для чего он был создан?

Сравнительно недавно, прошлой весной, я поймал себя на том, что думаю об этом в странной связи. Мы с Ренатой сидели в вагоне поезда, путешествовали по Франции. Путешествие было таким же, как большинство путешествий вообще. У меня не было ни цели, ни желания ехать. Рената любовалась пробегающим пейзажем.

– Красиво, правда? – спросила она.

Я выглянул в окно. Рената была права: красиво. Но я множество раз видел Красоту и закрыл глаза. Не принимаю шуточных идиологов Видимости. Как и всех остальных, меня приучили любоваться ими, и мне обрыдла их тирания. Я даже подумал: не те нынче покровы Красоты, не те. Да и те кончаются. Как кончается бумажное полотенце на ролике в мужской уборной в мексиканском захолустье. Я размышлял над могуществом коллективных абстракций и всем таком. Мы мечтаем о светлой большой любви, а нам подсовывают раскрашенных пустотелых идиологов. Мир бездушных категорий ждет, когда в нем возродится жизнь. Гумбольдт должен был стать инструментом этого возрождения. Это предназначение, эта миссия отражалась в его лице. Он был надеждой новой Красоты, ее обещанием, ее тайной.

Между прочим, в США такие люди выглядят чужаками.

Рената не случайно обратила мое внимание на Красоту. Она кровно заинтересована в ней, прочно к ней привязана.

По лицу Гумбольдта было видно: он хорошо понимает, что надо делать. Вместе с тем не оставляло сомнений: он не готов это делать. Он тоже обращал мое внимание на красивые пейзажи. В конце сороковых они с Кэтлин поженились и переехали из Гринвич-Виллиджа в сельский уголок в Нью-Джерси. Когда я навестил их, голова его была полна одним: земля-кормилица, деревья, трава, цветы, апельсины. Рай, Атлантида, Радамант. Он говорил о Блейке в Фелфеме, о мильтоновском «Рае» и клял города. Город – вшивая выдумка. Чтобы уловить нить растянутых рассуждений Гумбольдта, надо знать его опорные тексты – платоновский «Тимей», Пруст в Комбре, Вергилий о земледелии. Марвел о садоводстве, карибские стихи Уоллеса Стивена. Одна из причин нашей близости с Гумбольдтом состояла в том, что я был готов пройти весь курс.

Гумбольдт и Кэтлин обосновались в сельском доме.

Несколько раз в неделю он приезжал в город по творческим делам. Он был в зените славы, но отнюдь не в расцвете сил. Ему удалось заполучить несколько синекур. Я знал о четырех, но их, наверное, было больше. Мне, привыкшему жить на пятнадцать долларов в неделю, трудно было оценить его потребности и возможности. Гумбольдт не распространялся о своих гонорарах, хотя и намекал на крупные суммы. Теперь он вознамерился занять в Принстонском университете место профессора Мартина Сьюэла, который по Фулбрайтовской путевке ехал в Дамаск читать лекции о Генри Джеймсе. Заменить профессора должен был его друг Гумбольдт. По штату профессору полагался ассистент, и Гумбольдт рекомендовал меня. Пользуясь послевоенным культурным бумом, я килограммами рецензировал книги для «Нью рипаблик» и «Таймс».

– Сьюэл читал твои рецензушки. Говорит, неплохо, – сказал Гумбольдт. – Ты с виду славный, безотказный. Глазищи как у инженеру – наивные, лучезарные. И вести себя умеешь, даром что со Среднего Запада. Старик хочет посмотреть тебя.

– Посмотреть? Сейчас? Да он же лыка не вяжет.

– Я и говорю, с виду инженеру, простак. Недотрога, пока не заденешь. Ладно, нечего целку строить. Покажешься, не велика фигура. Все равно это пустая формальность. Дело на мази.

«Инженеру» – одно из излюбленных бранных словечек Гумбольдта. Проглотивший массу книг по психологии, он видел меня насквозь. Моя мнимая мечтательность, моя, так сказать, «нездешность» могли обмануть кого угодно, только не его. Он с ходу распознавал упорство и тщеславие, он знал, что такое агрессивность и смерть. Темы его разговоров не ведали границ. Мы ехали к нему в его потрепанном «бьюике», мимо проносились поля, и он распространялся о «звездной» болезни Наполеона, о Жюльене Сореле, о бальзаковском *jeune ambitieux*², о Марковом портрете Луи Бонапарта, о всемирно-историческом индивидууме Гегеля. Гумбольдт особенно напирал на всемирно-исторический индивидуум, таинственную интерпретацию абсолютного духа, вождя, возложившего на человечество задачу уяснить его цель, и т. д. и т. п. Об этих вещах в Деревне говорили многие и много, но неумная энергия Гумбольдта, его изобретательность и страсть к усложнению сообщали его толкованиям финнегановское двусмыслие, умолчание и намеки.

– У нас в Америке гегелевский индивидуум придет, вероятнее всего, слева, – сказал он. – Возможно, он будет родом из Аплтона в Висконсине, как Гарри Гудини или Чарли Ситрин.

– Меня-то зачем приплетать? Так можно до чего угодно договориться.

В ту пору Гумбольдт начал беспокоить меня. Однажды, когда мы с моей подругой Демми Вонгель гостили у него, он ляпнул за обедом:

– Смотри, ты не очень-то с Чарли, держи ухо востро. Я хорошо знаю таких женщин, как ты. Они слишком доверяют мужикам. А Чарли – суший дьявол, берегись его!

Тут же ужаснувшись собственным словам, он отвалился от стола и выбежал из дома. Мы слушали, как Гумбольдт поддает ногой камешки на темной деревенской дороге, и долго молчали. Потом Кэтлин сказала:

– Его постоянное иронизирование неприятно, я знаю, Чарли. Что-то засело ему в голову. Считает, что у тебя какая-то особая тайная миссия, а таким людям нельзя вполне доверять. Но в этом нет ничего личного. И Демми он любит, правда, думает, что оберегает ее. Ты ведь не обиделся, нет?

– Обиделся? Он слишком фантазер, чтобы обижаться на него. Особенно в роли защитника женщин.

Что до Демми, ее, судя по всему, ситуация просто забавляла, хотя на ее месте любая молодая женщина проявила бы озабоченность. Правда, позже она спросила, как бы между прочим:

– О какой миссии шла речь?

– Так, ерунда.

– Но однажды ты говорил что-то в этом роде. Или Гумбольдт действительно несет чепуху?

– Я говорил, что временами мне кажется, будто меня запечатали в конверт, бросили в почтовый ящик и люди ждут, когда меня вручат по определенному адресу, поскольку во мне содержится какая-то важная информация. Но все это так, обыкновенная глупость.

Демми – ее полное имя Анна Демптер Вонгель – преподавала латынь в школе Вашингтона Ирвинга, расположенной восточнее Юнион-сквер, и жила на Барроу-стрит. «Знаешь, в Делавэре есть несколько голландских поселений, – говорила она, – и мы, Вонгели, оттуда». Демми окончила школу, изучила античную филологию в колледже Брин-Мор и вместе с тем была малолетней преступницей: в пятнадцать лет связалась с шайкой угонщиков автомобилей. «Мы любим друг друга, – сказала она, – поэтому ты имеешь право знать обо мне все. У меня уголовное прошлое: снимала диски с автомобильных колес, вообще раздевала машины,

² Здесь: тип молодого честолюбца (*фр.*).

курила «травку», грабила квартиры, за мной гонялись, пытались изнасиловать, валялась в больнице, меня таскали в полицию и выпускали на поруки... Полный набор для малолетки. Зато я знаю около трех тысяч стихов из Библии. Воспитана на рассказах об адском пламени и адских муках». Ее папаша, провинциальный миллионер, гонял на своем «кадиллаке» и харкал через окно. «Чистит зубы кухонным порошком. Аккуратно выплачивает своей церкви десятину. Вozит на автобусе детишек в воскресную школу. Короче, последний из староверов. Впрочем, в Делавэре их и сейчас хватает».

У Демми голубая радужка на чистом белке и вздернутый носик, устремленный на вас воинственно, как и глаза. Рот всегда чуть приоткрыт из-за немного длинных передних зубов. Золотистые волосы, которые она ровно расчесывает на обе стороны, словно раздвигает занавески в опрятном окошке, венчают красивую голову на тонкой прямой шее. И лицо у Демми бледное, особенное, такие можно было увидеть лишь в фургонах лет сто назад, лица подруг наших пионеров. Но покорили меня прежде всего ее ноги, восхитительные и необыкновенные. Они имели один волнующий недостаток: колени касались друг друга, носки же, напротив, развернуты наружу. Когда она идет, слышишь пленительное шуршание ее шелковых чулок. Мы познакомились на вечеринке, и я едва понимал ее, потому что говорила она манерно. По принятой на Восточном побережье моде – попробуй сам, язык сломаешь. Но в ночной рубашке Демми была просто деревенской девчонкой, фермерской дочкой и говорила просто и чисто. Около двух часов она регулярно просыпалась от мучивших ее ночных кошмаров. Она испуганно верила в своего христианского Бога, считала, что должна изгонять из себя злых духов. До смерти боясь ада, она стонала во сне, потом садилась в постели и плакала. Полусонный, я как мог старался успокоить ее.

– Демми, милая, никакого ада нет.

– Нет, есть! Есть, я знаю!

– Положи голову мне на руку, постарайся уснуть.

Как-то в сентябре 1952-го Гумбольдт заехал за мной к Демми на Барроу-стрит. Она жила рядом с театром «Черри-Лейн». Он совсем не походил на того молодого преуспевающего поэта, с которым мы ели моллюсков в Хобокене, – толстый, грузный.

– Чарли, вон Гумбольдт катит на своей тарактелке! – крикнула Демми, высунувшись из окна, чтобы полить бегонии, которые росли у нее на пожарной лестнице.

Он гнал сломя голову, правда, по его словам, тормоза у него были «с усилителем». Гумбольдт был набит сведениями о тонкостях и тайнах автомобилизма, но не умел толком припарковать машину. Я видел, как он пытается втиснуться задом в промежуток между двумя колымагами. Я разработал целую теорию на этот счет. Способ парковки связан с самооценкой человека за рулем и показывает, что он думает, когда стоит к вам задом. Гумбольдт дважды въезжал задними колесами на поребрик, потом плюнул, выключил зажигание, вылез из машины и захлопнул дверцу, широченную, метра в полтора. На нем был клетчатый спортивный пиджак и те же кеды. Он приветствовал меня молча, не раскрывая большегубого рта. Его широко расставленные глаза раздвинулись, казалось, еще шире, ни дать ни взять – кит, вдруг всплывший рядом с лодкой-плоскодонкой. Красивое лицо расплылось и обрюзгло. И все же оно было величественным, как у Будды, но – беспокойным. Что до меня, я был одет для важной встречи, весь вычищен, выглажен, застегнут на все пуговицы. Строен, как зонт. Демми следила за моей внешностью. Она гладила мне рубашки, выбирала галстуки, причесывала густую черную шевелюру – тогда я имел ее. Я спустился вниз, и мы тронулись, объезжая пожарные лестницы, битый кирпич, пустые банки и бутылки. Демми помахала нам из окна: «Желаю приятно провести время!» Тявкал с подоконника ее белый терьер.

– Почему Демми не поехала? Кэтлин ждет ее.

– Ей надо проверить письменные работы по латинскому и подготовиться к занятиям.

– Если она такая сознательная, могла бы поработать на природе. А утром я отвез бы ее на станцию.

– Она прикинула и решила остаться дома. И кроме того, твои кошки не ладили бы с ее псом.

Гумбольдт не настаивал. Он любил своих кошек.

И вот из сегодняшнего далека я вижу двух странных типов на переднем сиденье тряской тарактелки, сверху донизу забрызганных грязью. У колес на Гумбольдтовом «бьюике» был большой развал, и шины выписывали на дороге вытянутые восьмерки. Пользуясь тем, что улицы, залитые рассеянным солнечным светом ранней осени, были пустыми, мой друг несся сломя голову. Он вообще был жуткий лихач, но водитель никудышный. Трогался с места рывками, тормозил резко, не глядя давал задний ход, делал запрещенные левые повороты. Я справлялся с автомобилем куда лучше, но сравнивать нечего: Гумбольдт есть Гумбольдт. Он навалился грудью на руль, руки у него дрожали, как у мальчишки, которому первый раз доверили вести машину, из стиснутых зубов торчал мундштук. Гумбольдт был возбужден и говорил без умолку – развлекал меня, поддразнивал, убеждал, пичкал новостями. Он почти не спал ночью. Разумеется, пил и глотал таблетки горстями и чувствовал себя сейчас отвратительно. В портфеле он всегда таскал с собой «Справочник Мерка» в черном переплете. Это была его библия. Он часто заглядывал в него, и находились аптекари, которые выдавали ему все, что бы он ни потребовал. В этом отношении Гумбольдт и Демми были родственными душами. Она тоже сама ставила себе диагноз и горстями глотала таблетки.

«Бьюик» грохоча несся к туннелю Холланда. Утопая рядом с Гумбольдтом в омерзительной мягкости сиденья, я ощущал, как его переполняют идеи и иллюзии. Их было великое множество, и они всегда были с ним. «Посмотри, – говорил он, – болота Джерси меняются буквально на глазах: прокладывают дороги, строят фабрики, ставят склады». Как выглядел бы его «бьюик» лет пятьдесят назад? Можно ли представить Генри Джеймса, Уитмена или Малларме за рулем? И пошло-поехало: механизация, капиталистическая экономика, техника, мамона, Орфей, поэзия, богатство человеческой души, Америка, мировая цивилизация... Он словно задался целью связать все это и многое другое воедино – мотор в машине храпел и рычал. Наконец мы выскочили из черной трубы туннеля на солнечный свет. Высоченные трубы, как зенитные орудия, палили в воскресное небо красивыми клубами дыма. Кисловатый запах нефтеочистительных заводов проникал в легкие. В каналах стояли танкеры. Свистел ветер, гоня белые облака. Домики, виднеющиеся вдаль, напоминали город мертвых. Живые торопились в церковь. Неотрегулированные колеса стучали на шоссейных швах. Порывы ветра были так сильны, что потряхивало даже тяжелый «бьюик». Вдруг на ветровое стекло легли решетчатые тени: мы переезжали Пуласки-скайвэй. На заднем сиденье у нас валялись бутылки, банки с пивом, книги, среди них, как сейчас помню, «Les Amours Jaunes» – «Желтая любовь» Тристана Корбьера в желтой обложке, «Полицейская газета» с розовыми картинками легавых и тюремных птах.

Дом у Гумбольдта был в дальнем углу Нью-Джерси, около административной границы с Пенсильванией. Земля тут ни к черту, годилась разве что под птицефермы. Подъездная дорога была немощенной, и мы ехали, подпрыгивая на ухабах, в туче пыли по бесплодным пустым полям, усеянным валунами, – только вереск хлестал нам бока.

Гумбольдту не пришлось сигналить, так как глушитель на моторе вышел из строя. Нас было слышно за версту, как говорят русские. Впрочем, и сигналить было некому. «Приехали!» – объявил мой друг и круто взял вправо. «Бьюик» перевалил через бугор и нырнул в траву. Гумбольдт отчаянно давил на клаксон, опасаясь за своих кошек, но кошки преспокойно попрыгали на крышу сарая, полупровалившегося прошлой зимой.

Кэтлин вышла нам навстречу, прямая, крупная, красивая. Ничего личико, говорит женщина, когда склонна похвалить другую женщину. На Кэтлин не было следов загара, и волосы у нее не выцвели.

«Она редко выходит из дома, – говорил Гумбольдт, – сидит и читает». Все было в точности как на Бедфорд-стрит, только мусор деревенский. Кэтлин, обрадовавшись мне, дружески пожала руку.

– Добро пожаловать, Чарли, – сказала она. – Хорошо, что приехал. А где Демми? Не смогла? Жалко-то как.

И здесь меня озарило, точно магниевую вспышку засветили в голове. Я со всей ясностью понял, в каком состоянии жила сейчас Кэтлин. Его можно выразить несколькими словами: сиди и не рыпайся! Я буду счастлив и тебе дам счастье. Быть может, особое, но такое, о каком ты и не мечтаешь. Когда я выполню свое предназначение, исполнятся самые сокровенные желания человечества. «Разве не то же самое говорит современная власть?» – подумал я. Это был голос свихнувшегося деспота, одержимого всепоглощающими страстями, голос, которому обязаны почтительно внимать все остальные. У Кэтлин, вероятно, были свои, женские причины подчиниться. От меня тоже ожидали, что я подчинюсь, я тоже должен был на свой манер сидеть и не рыпаться. Гумбольдт имел планы насчет меня, и простирались они за пределы Принстона. Он либо писал стихи, либо строил козни. Порядочный был интриган. Только недавно, много лет спустя, я начал понимать, почему целиком оказался под его влиянием. Он будоражил меня на каждом шагу. Что бы ни делал Гумбольдт, все было безумно интересно и восхитительно. Кэтлин, очевидно, осознавая это, усмехнулась, когда я вылез из машины и ступил на лужайку с примятой травой.

– Дыши озоном, это тебе не Бедфорд-стрит, – сказал он и продекламировал слова Дункана: – «Приятно расположен этот замок, и самый воздух, ласковый и легкий, смягчает ваши чувства».

Потом мы начали играть в футбол. Они с Кэтлин любят погонять мяч. Поэтому и трава на лужайке вытоптана. И все же большую часть времени они проводили за книгами. «Чтобы понять, о чем рассуждает муж, надо постоянно почитать Джеймса, Пруста, Эдит Уортон, Карла Маркса, Фрейда – всех не перечислишь», – говорила она. «Приходится устраивать сцены, чтобы выгнать ее из дому и немного постучать», – сказал он. Кэтлин хорошо играла: подавала резкие точные пасы поверху и, сделав рывок, с восклицанием принимала мяч на грудь. Мяч взлетал над бельевыми веревками, под верхние ветви кленов и в полете вертелся, как утиный хвост. Куда как приятно размяться после долгого сидения в машине, да еще в моем строгом костюме. Гумбольдту неплохо удавались короткие перебежки. Рослые, крепкие, оба в хлопчатобумажных трениках, он и Кэтлин походили на солдат-новобранцев, старающихся выложиться до конца. «Ишь ты, как прыгает. Что твой Нижинский», – сказал Гумбольдт обо мне.

Я такой же Нижинский, как хибара – замок Макбета. У основания небольшой горки, на которой она стояла, пересекались две дороги и разъедали грунт, так что земля с горки начала мало-помалу осыпаться. «В один прекрасный день придется ее как-то подпирать, – сказал Гумбольдт, – или подавать в суд на местные власти». Он был готов подать в суд на кого угодно. Вот соседи через дорогу разводят птицу, горластые, как женщины-иммигрантки, цыплята не дают покоя. Земля заброшена, повсюду заросли репейника, чертополоха, сушеницы, в почве мелкие провалы, заполненные мутной водой. Даже кустарники, казалось, существуют на пособие. Деревья – дубки, айланты, сумах – низкорослые, сиротливые, недоразвитые. Воздух был чист и свеж, только от припудренной пылью осенней листвы тянуло щемяще-сладостным ароматом увядания. Солнце садилось, и окрестность, окрашенная в светло-коричневые тона, была как застывший кадр в старом кино. Закат. Акварельный мазок где-то там, в Пенсильвании, звон овечьих колокольчиков, лай собак из темнеющих подворотен. Чикаго научил меня находить

что-то интересное в самом примитивном и скудном пейзаже. В Чикаго вообще делаешься знакомом того, чего почти нет. Незамутненным взглядом я смотрел на эту нехитрую картину и чувствовал красоту красного сумаха, белых камней, шелестящих сорняков, зеленой листвы, нависающей на пересечении двух дорог.

Нет, это было не просто понимание, а привязанность, даже любовь, любовь к этому месту. Она вспыхнула под влиянием поэта. Я имею в виду не подаренную мне возможность прикоснуться к миру литературы, хотя чувство благодарности поселилось во мне с тех пор. Влияние заключалось в другом, в том, о чем он говорил неоднократно: человечество от века верит, что потеряет свой изначальный мир, свой, так сказать, родительский дом. Иногда Гумбольдт сравнивал поэзию с островом Эллис, где многие поколения чужестранцев начинали американскую жизнь, а планету Земля – с волнующим, но недостаточно очеловеченным подобием того, потерянного, мира. Человеческий род в его глазах – это потерпевшие крушение изгнанники. «Эх, старина, старина, – думал я, – какая же ты все-таки срань! Бросить такой дерзкий вызов! Надо обладать самонадеянностью гения, чтобы курсировать между этим жалким клочком земли и Нигде, между Нью-Джерси и тем потерянным миром, откуда идет наша славная родословная. Зачем усложнять себе жизнь, сукин ты сын? Зачем купил этот сарай, припадочный?»

Но в эту минуту я бежал за мячом в заросли крапивы и был вполне счастлив. «Может, перебесится?» – размышлял я. Если человек потерял, ему нечего терять. Когда опаздываешь на деловую встречу – не лучше ли сбавить шаг, как советовал один из моих любимых русских писателей? Тише едешь – дальше будешь.

Нет, я был абсолютно не прав. Гумбольдт не бросал вызов и не пытался перебеситься.

Стемнело. Мы вошли в дом. Внутри была сельская Гринвич-Виллидж в миниатюре: комнаты, обставленные вещами, купленными в дешевых лавчонках, на распродажах, на благотворительных базарах, стояли как бы на фундаменте, сложенном из книг и журналов. Мы сидели в гостиной и пили вино в стаканчиках из-под арахисового масла. Высокая, светловолосая, пышногрудая, слегка веснушчатая Кэтлин улыбалась, но в основном молчала, прихлебывая из банки «пиво Пабста»; чего не сделают женщины ради мужей! Она любила своего поэта-повелителя и позволяла ему держать ее узницей в деревенской глуши. Муж и жена расположились на диванчике, и тени от их крупных фигур со стены изломом переходили на потолок – так низко он спускался. Обои были розовые, под цвет дамского белья, с узорами из роз и квадратов. В том месте, где было отверстие для печной трубы, торчала позолоченная асбестовая заглушка. В окне из темноты показывались сердитые кошки. Гумбольдт и Кэтлин по очереди впускали их. Оконные рамы были допотопные. Чтобы поднять раму, Кэтлин бралась руками за нижнюю планку и одновременно налегала на раму грудью. Шерсть у кошек топорщилась от животного электричества.

Поэт, мыслитель, пьяница, прожектор, глотающий пилюли, жуткий интриган, воплощение американского успеха, мой друг опубликовал в свое время прекрасные и умные стихи. Но что он написал в последнее время? Переполюнявившие его песни не выливались на бумагу. Ненаписанные строки душили его. Он заперся в этой глуши, которая казалась ему то Аркадией, то Адом. До него доходили гнусности, которые распускали о нем завистники и клеветники, другие писатели и интеллектуалы. Обозлившись, Гумбольдт, в свою очередь, обливал их грязью, но своей клеветы не слышал. Он мрачнел, строил фантастические козни. Становился великим затворником, хотя затворничество противоречило его природе. Он – общественное животное, создан для активной жизни. Все его планы и интриги тому свидетельство.

В ту пору Гумбольдт делал ставку на Эдлая Стивенсона. Он считал, что, если на ноябрьских выборах Эдлай побьет Эйзенхауэра, Культура займет подобающее ей место.

– Теперь, когда Америка стала мировой державой, с мещанством покончено, хотя она представляет опасность в политическом отношении, – говорил он. – Если Стивенсон придет в Белый дом, туда же придет Литература и мы придем, Чарли. Кстати, Эдлай читал мои стихи.

– Откуда это тебе известно?

– В данный момент я не имею права об этом распространяться, но мы с Эдлаем поддерживаем связь. В предвыборных поездках всегда при нем книга моих баллад. Наконец-то у нас в стране начинают ценить интеллигенцию. Наконец-то демократия начинает создавать в США настоящую цивилизацию. Поэтому мы с Кэтлин и уехали из Деревни.

Купив дом, Гумбольдт стал собственником. Поселившись среди бедняков на участке бросовой земли, он полагал, что окунулся в подлинную жизнь Америки. Этим он отговаривался. Действительной же причиной переезда была ревность. Его безумные фантазии насчет Кэтлин. Однажды он рассказал мне длинную запутанную историю. Отец Кэтлин с самого начала пытался отнять ее у него, Гумбольдта. До замужества старик убедил дочь познакомиться с одним из Рокфеллеров.

– В один прекрасный день она исчезла, – поведал мне мой приятель. – Вышла во французскую булочную и пропала почти на год. Я нанял частного сыщика, но сам понимаешь, какая у Рокфеллеров охрана. С их-то миллионами. Знаешь, у них под Парк-авеню подземные дороги.

– И кто же из Рокфеллеров купил Кэтлин?

– Именно купил, это ты точно подметил. Старый сводник просто-напросто продал дочь. Попадется газетная статья о белых рабах – не смейся.

– Наверное, все это было против ее воли.

– Она же у меня уступчивая, как голубка, сам видишь. Старик на сто процентов подмял ее под себя. Только сказал: «Иди!» – она и пошла. Может, Кэтлин и сама того хотела, а папочка дал «добро».

Мазохизм чистой воды. Часть Психодрамы, которой Гумбольдт выучился у современных мастеров драмы, более тонкой, более искусной, чем любой патентованный способ лечения. Он мог часами валяться на диване, читал Пруста и размышлял над истинными мотивами Альбертины. Он редко позволял Кэтлин ездить одной в супермаркет. Даже прятал ключ зажигания и вообще хотел, чтобы она знала свое место.

Гумбольдт был еще по-прежнему красив. Кэтлин обожала его. Иногда, однако, у него возрождались еврейские страхи. Ведь он восточный человек, она христианка, и Гумбольдт боялся, что куклуксклановцы запалят крест или пристрелят его через окно, когда он читает на диване Пруста или затевает очередной скандал. Кэтлин сказала, что заглядывает под капот своего «бьюика» – нет ли там бомбы. Не раз и не два Гумбольдт пытался вытянуть из меня признание, что и я питаю подобные страхи.

Фермер-сосед продал ему сырые дрова. После ужина мы разожгли небольшой камин, они дымили. На столе еще стояло блюдо с обглоданным индюшачьим скелетом. Хорошо шло вино и пиво. На десерт был кофейный торт «Эннпейдж» и тающее мороженое с кленовым сиропом и грецкими орехами. Мороженое отдавало помойным запахом, а стаканчики напоминали артиллерийские снаряды. Гумбольдт говорил:

– Стивенсон – человек большой культуры, такой у нас первый со времен Вудро Вильсона. Но Вудро Вильсон в этом смысле уступает Стивенсону и Аврааму Линкольну. Линкольн хорошо знал Шекспира и цитировал его в трудную минуту. «Ничто не важно в этом смертном мире; все вздор... Дункан – в могиле; горячка жизни кончилась, он спит...» Линкольн почувствовал беду – как раз накануне капитуляции Ли. Наши первопроходцы не боялись поэзии. Эти финансовые воротилы и церковники-евнухи из боязни стать бабами капитулировали перед грубой мужской силой, которая превратила искусство и религию в забаву для дамочек. Стивенсон это понимает.

Если верить Гумбольдту (я не верил), Стивенсон – это Аристотелев человек великой души. В его администрации члены кабинета будут ссылаться на Йитса и Джойса, а в комитете начальников штабов изучать Фукидида. С ним, Гумбольдтом, будут непременно советоваться при подготовке президентского послания «О состоянии Союза». Он, Гумбольдт, станет Гете

нового правительства, а Вашингтон – его Веймаром. «Ты бы подумал, чем захочешь заняться. Может, какое-нибудь теплое местечко в библиотеке конгресса, а? Для начала?»

– Надо включить «На ночь глядя», – сказала Кэтлин. – Сегодня там старую картину с Белой Лугоши показывают. – Она видела, что муж перевозбудился. Опять не будет спать ночью.

Прекрасно. Мы включим старый «ужастик».

Бела Лугоши играл в нем роль безумного ученого, который изобрел искусственную кожу. Он напялил ее на себя, стал похож черт-те на кого и ворвался в комнату к прелестным девушкам. Те завизжали и попадали в обморок. Кэтлин была невероятнее любого ученого и красивее любой красавицы. Она с полуулыбкой уткнулась в ящик затуманенным взглядом – лунатик да и только. Кем угодно станешь, когда тебя облучают продуктами распада западной культуры. Потом Кэтлин пошла спать. Что еще ей оставалось делать? За эти десятилетия я понял, что значит спать. Стал специалистом по сну. Гумбольдт между тем не ложился и мне не давал. Бензедрин не подействовал, он принял амитал, запив его джином.

Я вышел пройтись по холодку. Свет из окна падал на рытвины и канавы, на заросли дикой моркови и амброзии. Тявкали собаки и, может быть, лисицы, мерцали звезды. За окном на ночь глядя метались тени и привидения, безумный ученый перестреливался с полицией, потом его лаборатория взорвалась. Беднягу охватило пламя, и потекла с него искусственная кожа...

Демми на своей Барроу-стрит, наверное, тоже смотрела эту картину. Она не страдала бессонницей, но жутко боялась спать и оттого ночным кошмарам предпочитала фильмы ужасов. Чем ближе подходило время ложиться, тем беспокойнее она становилась. В десять мы обычно смотрели новости, потом выгуливали собаку и играли в триктрак или раскладывали пасьянс. Сидя на постели, мы снова включали телевизор и смотрели, как Лон Чейни кидает ногами ножи.

Я не забыл, что Гумбольдт пытался стать защитником Демми, но я больше не держал на него за это зла. Встречаясь, они сразу же начинали говорить о старых картинах и новых лекарствах. Страстно и со знанием дела обсуждая достоинства дексамина, они начисто забывали обо мне. Но я был рад, что у них так много общего. «Грандиозный мужик», – отзывалась она о нем.

– Да, эта баба знает фармакологию. Исключительная баба, – как бы вторил ей Гумбольдт, но, органически не способный не испортить обедню, добавлял: – Только ей нужно избавиться от кое-каких привычек.

– Каких еще привычек? Она уже была малолетним преступником.

– Этого недостаточно. Если жизнь не опьяняет, она ничто. Гореть или гнить, третьего не дано. Америка – романтическая страна. Хочешь остаться трезвым? Потому что ты, Чарли, сам по себе, ни к кому не лепишься. – Потом, понизив голос и упершись взглядом в пол, спросил: – Как ты думаешь, у Кэтлин все в порядке с головой? Позволила же она отцу продать ее Рокфеллеру.

– Ты так и не сказал, который из Рокфеллеров ее купил.

– Слушай, я не стал бы строить планов насчет Демми. Она настрадается ой-ой-ой, бедная.

Гумбольдт опять совал нос не в свои дела. Его замечание меня задело: Демми действительно страдала. Есть женщины, которые плачут тихо, как вода льется из садовой лейки. Демми плакала иступленно, навзрыд – так плачет только тот, кто верит в грех. Когда она захлебывается слезами, ее не только жалко – уважаешь силу ее души.

Мы с Гумбольдтом проговорили полночи. Кэтлин дала мне свитер. Воспользовавшись моим присутствием, она была рада отдохнуть. Завтра и всю неделю гостей не ожидается, Гумбольдт опять будет колобродить, ей не удастся поспать как следует.

В качестве предисловия к ночным разговорам с фон Гумбольдтом Флейшером (впрочем, это скорее был сольный концерт чтеца-декламатора) мне хотелось бы сделать краткое замечание исторического порядка: в начале современной эпохи жизнь, очевидно, утратила спо-

способность самоустраиваться. Теперь ее приходилось устраивать. Интеллектуалы узрели в этом свою историческую миссию и взялись за дело. Примерно со времен Макиавелли эта миссия стала великим, притягательным, мучительным, обманчивым предприятием. Человека вроде Гумбольдта – вдохновенного, умного, полупомешанного – распирало открытие, что человеческой цивилизацией, столь величественной и многообразной, должны управлять исключительные личности. Он личность исключительная, следовательно, подходящий претендент на власть. Почему бы и нет? Внутренние шепотки здравомыслия недвусмысленно объясняли ему, почему нет, и он становился комической фигурой. Покуда мы смеемся, мы живем. В ту пору я и сам рассчитывал стать претендентом. Передо мной разворачивались блестящие перспективы – интеллектуальный триумф и личный успех.

Теперь два слова о речистости Гумбольдта. О том, как и что говорил поэт.

Начинал он как вдумчивый хладнокровный мыслитель, говорил неспешно, взвешенно, но вскоре картина полного здравомыслия сменялась иной.

Я и сам люблю поговорить и потому поддерживал беседу как мог. Однако дуэт продолжался недолго. Под скрипичное пиликанье и трубные вздохи я покидал сцену. Гумбольдт один выдвигал новые идеи, формулировал, спорил, доказывал. Его голос доходил до верхних регистров, срывался, падал и снова поднимался. Рот у него растягивался, глаза туманились, а под ними набухали темные мешки. Тяжелые руки, широкая грудь, штаны, подпоясанные под животом незатянутым ремнем, и свисающий конец ремня. После сухой формулировки исполнитель переходил к главному речитативу, затем затягивал арию, звуки из оркестровой ямы несли намеки, надежду, неугасающую любовь к искусству, неподдельное почитание великих людей и вместе с тем – подозрительность и обман. Общаюсь с Гумбольдтом, ты собственными глазами видел, как человек способен упиться и упеться до умопомешательства, а потом отрезвиться и успокоиться.

Начинал он говорить с того, что определял место искусства и культуры в первой администрации Стивенсона, указывал на важную роль будущего президента, собственно, на нашу роль, поскольку делами заправлять будем мы с ним. Для зачина Гумбольдт давал характеристику Эйзенхауэру. Где-где, но в политике ему не хватало куража. Как он допустил, чтобы Джо Маккарти и сенатор Дженнер поливали грязью Маршалла? Кишка тонка. Он, конечно, самолет от танка отличит, и на публику работать умеет, и вообще не дурак. Образец генерала-тыловика: добродушный по натуре, бабник, обожает бридж, читает вестерны Зейна Грея. Если народу нужно правительство передышки, если он оправился после депрессии и теперь хочет отдохнуть после войны, если он достаточно набрался сил, чтобы обойтись без «новокурсодов», и достаточно обогатился, чтобы сказать им спасибо, он побежит голосовать за Айку, своего рода принца, которого можно заказать себе по «Каталогу Сирса Робака». Может, ему, народу, надоели величины вроде Рузвельта и трудяги вроде Трумэна? И все-таки не стоит недооценивать Америку. Стивенсон может пройти. Тогда мы увидим возможности искусства в либеральном обществе, увидим, насколько оно совместимо с социальным прогрессом. Говоря о Рузвельте, Гумбольдт тонко намекнул, что ФБР могло иметь отношение к смерти Бронсона Каттинга. Самолет сенатора Каттинга разбился, когда тот возвращался из родного штата после подсчета голосов. Как это случилось? Может, Дж. Эдгар Гувер руку приложил? Тебе известно, почему он так долго сидит в своем кресле? Грязную работу за президентов делает! Вспомни, как он хотел прикончить Бартона Уилера из Монтаны.

От Рузвельта и Гувера Гумбольдт перешел к Ленину и Дзержинскому, главе ГПУ. От них перекинулся на преторианца Сеяна и зарождение тайной полиции в Римской империи. Потом завел речь о литературной теории Троцкого и о том, какое громадное место занимало большое искусство в багаже Революции. Затем вернулся к Айку и к мирной жизни профессиональных военных в тридцатые годы. Говорил, как сильно они пили. Упомянул Черчилля и его пристрастие к бутылке, остановился на секретных службах, призванных, помимо прочего,

ограждать правителей от скандалов, и на системе охраны в мужских борделях Нью-Йорка... Алкоголизм и гомосексуальность. Брачная жизнь педерастов, Пруст и барон де Шарлюс, извращенцы в германской армии до 1914 года... Ближе к утру Гумбольдт начал читать труды по военной истории и военные мемуары. Он знал работы Уилера Беннетта, Честера Уилмота, Лиддела Харта, гитлеровских генералов. Он читал также Уолтера Уинчелла, Эрла Уилсона, Леонарда Лайонса, Реда Смита. Гумбольдт легко переходил от «желтых» газетенок к генералу Роммелю, от Роммеля к Джону Донну и Т.С. Элиоту. Он знал странные факты из жизни Элиота, о которых никто слухом не слыхивал. Он был набит слухами и домыслами наравне с теорией литературы. Да, поэзии присуще искажать. Но что в стихе важнее – реальная жизнь или ее преображение? Имена, даты, догадки градом сыпались на меня, подкреплялись высказываниями классиков, Эйнштейна, За Габора, актрисы, известной тем, что имела двенадцать мужей, и ссылками на польский социализм и футбольную тактику Джорджа Галаса, на тайные мотивы Арнольда Тойнби и – как ни странно – практику торговли подержанными автомобилями. Богатые, бедные, евреи, не евреи, хористки, проститутки, религия, старые деньги и новые деньги, Бэк Бей, Ньюпорт, Вашингтон-сквер. Генри Адамс, Генри Джеймс, Генри Форд, Иоанн Креститель, Данте, Эзра Паунд, Достоевский, Мэрилин Монро и Джо Димаджио, Гертруда Стайн и Алиса, Фрейд, Ференци... Упомянув Ференци, Гумбольдт всегда приводил его высказывание: «Инстинкт абсолютно противоположен здравому рассудку, поэтому здравомыслие – крайняя форма безумия». Доказательства? Посмотри, как свихнулся Ньютон! И здесь мой друг непременно вспоминал Антонина Арто. Драматург однажды пригласил на свою лекцию самые блестящие умы Парижа. Когда все собрались, выяснилось, что никакой лекции нет и не будет. Арто просто вышел на сцену и зарычал, как дикий зверь. «Раззявил хайло и давай рычать, – пояснил Гумбольдт. – Парижские умники перепугались, замерли от восторга: это было нечто. Зачем он это сделал? До того как стать художником, Арто был неудавшимся священником. Неудавшиеся священники – спецы по богохульству. Их богохульство нацелено на тех, кто верит. Во что? В разум, а разум, по Ференци, заряжен безумием. Спрашивается, что это означает в широком смысле. Это означает, что интеллектуалов, этот новый класс трогает только то искусство, которое прославляет первенство идеи. Вот почему положение культуры и ее история стали содержанием искусства. Вот почему утонченная аудитория с почтением внимала рычанию Арто. Она считает, что цель искусства в том и состоит, чтобы воодушевлять, рождать идеи и язык. Просвещенная публика в современных странах – это думающая среда на той стадии общественного развития, которую Маркс называл первоначальным накоплением. Интеллектуалы хотят свести шедевры к качеству языка. Рычание Арто – это поступок, атака на воцарившуюся в прошлом веке «религию искусства»; ей на смену должна прийти религия речи, религия слова, религия языка. Теперь ты понимаешь, – продолжал Гумбольдт, – почему так важно, чтобы в администрации Стивенсона был советник по культуре, человек, понимающий этот общемировой процесс».

Кэтлин наверху укладывалась спать. Сквозь дощатый потолок (или пол – как посмотреть) было слышно каждое ее движение. Мне было завидно. Я продрог как цуцик и сам мечтал забраться под одеяло. Но Гумбольдт втолковывал мне, что до Трентона пятнадцать минут езды, а оттуда рукой подать до Вашингтона – два часа поездом. Ничего не стоит туда махнуть. Стивенсон уже связался с ним и назначил встречу. Надо помочь ему срочно набросать вопросы, подлежащие обсуждению. Мы просидели до трех часов. Я пошел в отведенную мне комнату. Гумбольдт наливал себе последнюю порцию джина.

Наутро он воодушевился еще более. Мы завтракали, у меня голова кружилась от сыпавшихся градом сведений о мировой истории и его тонких наблюдений над ней. Всю ночь Гумбольдт глаз не сомкнул.

Чтобы унять волнение, мой друг решил сделать пробежку. В стоптанных кедах, работая локтями, как заправский бегун, он припустил по пояс в пыли по дороге, идущей под откос, и

скоро утонул в ползучих сорняках чертополоха, молочае, дождевиках под сумахами и дубками. Когда он вернулся, штаны у него были в колючках. Насчет бега у Гумбольдта тоже был пример из истории литературы. Служа секретарем у сэра Уильяма Темпла, Джонатан Свифт бегал по несколько миль в день, чтобы дать выход своим чувствам. Вас мучают мрачные мысли, вы глубоко переживаете что-то, сгораете от желания сделать то-то и то-то? В таком случае нет ничего лучше, как попотеть на дорожных работах. С потом весь алкоголь из организма выйдет.

Гумбольдт потащил меня на прогулку. Мы шли в осенней паутине по опавшим листьям и валежнику. В утреннем воздухе тянуло приятным запашком. Нас сопровождали кошки. Они упражнялись в прыжках. Подняв хвост трубой, кидались на деревья, точили когти. Гумбольдт был без ума от своих кошек. Через полчаса он пошел в дом, побрился, и мы покатали на громышающем «бьюике» в Принстон.

– Твое дело в шляпе, – несколько раз повторил он.

Мы встретились со Сьюэллом во французском ресторанчике. Этот тощий мужчина с худым лицом и уже немного навеселе почти не разговаривал со мной. Ему хотелось посудачить с Гумбольдтом о Нью-Йорке и Кембридже. Космополит (в собственных глазах), если таковые вообще попадают, он никогда не бывал за границей. Гумбольдт тоже не бывал в Европе.

– Старик, если хочешь поехать, это можно устроить, – сказал Сьюэлл.

– Знаешь, я не вполне готов, – ответил Гумбольдт. Он боялся, что его выкрадут бывшие нацисты или агенты ГПУ.

Провожая меня на станцию, он сказал:

– Я же говорил, что эта встреча – пустая формальность. Мы с ним знакомы с незапамятных времен. Даже писали друг о друге, но не обижались. Одно непонятно: почему в Дамаске интересуются Генри Джеймсом?.. Ну что ж, Чарли, настает наше времечко. Если мне придется поехать в Вашингтон, будешь тут заправлять делами вместо меня. Я на тебя рассчитываю.

– Дамаск, – сказал я, – да он и у арабов будет Шейхом Безразличия.

Гумбольдт растянул рот, показав свои мелкие зубы. Раздался характерный, едва слышимый смешок.

В то время я был еще подмастерьем, выступал в эпизодических ролях, и Сьюэлл обошелся со мной соответственно. Как я понимаю, он увидел во мне симпатичного, но рыхловатого и слабохарактерного молодого человека с большими сонными глазами, в которых не угадывалось особого желания увлечься делами других людей. Об этом говорили его снисходительные взгляды. Меня задело, что он недооценил меня. Но раздражение только прибавляет мне силы. И если впоследствии мои заслуги признали, то именно потому, что я научился обращивать пренебрежение со стороны других в свою пользу. Я мстил своими успехами. Так что я многим обязан Сьюэллу, но отплатил ему черной неблагодарностью. Много лет спустя, прочитав в чикагской газете сообщение о его смерти, я, потягивая виски, сказал то, что говорю в аналогичных случаях: некоторым смерть полезнее. Кроме того, я вспомнил шпильку, которую подпустил в его адрес, когда мы с Гумбольдтом шли в Принстоне на станцию. Люди умирают, и колкости, сказанные мною о них, как на крыльях летят назад и жалят меня. Да при чем тут безразличие? Павел из Таруса пробудился на пути в Дамаск. Сьюэлл из Принстона уснет у арабов еще более глубоким сном. Вот смысл моего злого замечания. Сейчас я жалею, что сморозил такую глупость. Относительно той встречи добавлю, что допустил ошибку, позволив Демми Вонгелю обрядить меня в иссиня-черный, словно древесный уголь, костюм, в рубашку с пристежным воротничком, нацепить вязаный темно-бордовый галстук, надеть туфли из кордовской кожи такого же цвета – ну чем не принстонец?

Вскоре после того, как, навалившись в четыре часа дня на кухонную стойку со стаканом виски и куском маринованной селедки, я прочитал в чикагской «Дейли ньюс» некролог о Сьюэлле, Гумбольдт, умерший уже пять или шесть лет назад, снова вошел в мою жизнь. Когда это

было, точно сказать не могу. Я перестаю замечать время – верный признак того, что голова у меня занята более важными проблемами.

* * *

Теперь обращаюсь к настоящему. Это совсем другая жизнь, сегодняшний день.

Я – в Чикаго. Недавно, если верить календарю, выхожу одним декабрьским утром, чтобы встретиться с Мурра, моим финансовым советником. Спускаюсь по лестнице и вижу, что мой «мерседес-бенц» разбит. Нет, в него не врезался неосторожный или пьяный водитель, который потом сбежал, не оставив записку под «дворником». Нет, по нему колотили чем-то тяжелым, очевидно, бейсбольными битами. Мою первоклассную машину, правда, не новую, но обошедшуюся мне три года назад в восемнадцать тысяч долларов, искорежили с такой варварской жестокостью, которую трудно постичь – я имею в виду «постичь» даже в эстетическом смысле, ибо эти мерседесовские лимузины поистине прекрасны, особенно выкрашенные в серебристо-серый цвет. Мой друг однажды горько и восхищенно изрек: «Что-что, а уничтожать евреев и делать автомобили эта немчура действительно умеет».

Искореженный «мерседес» – это удар по мне и в социологическом отношении, поскольку я полагал, будто знаю Чикаго, и убежден, что хулиганье тоже уважает красивые машины. Недавно в лагуне, в Вашингтон-парке, обнаружили затопленную легковушку и в ней человека. Видимо, он стал жертвой грабителей, которые и утопили его, чтобы избавиться от свидетеля. Помню, я тогда подумал, что машина – всего-навсего «шевроле». На «Мерседес-280 SL» у грабителей рука бы не поднялась. Я сказал Ренате, что меня могут пырнуть ножом или столкнуть на рельсы с платформы на Иллинойском вокзале, но мое чудесное транспортное средство никто не тронет.

Но в то декабрьское утро во мне был посрамлен специалист по городской психологии. Признаюсь, я просто хвастался, выдавая себя за знатока – или заклинал кого-то: «Защити!» Я знал, что в большом американском городе человеку нужен ремень безопасности, спасательный круг, определенная защитная масса. Накопить такую защитную массу помогают всяческие теории. Так или иначе, общая идея состоит в том, чтобы уберечь себя от беды. Мне это не удалось. Какие-то психи потащили меня в ад. Мой самодвижущийся экипаж, мой красавец, которого мне вообще не следовало бы покупать, потому что человеку с моей психикой нельзя доверить такое сокровище, был весь изувечен. Били методично и со знанием дела, били по крыше с раздвижной панелью, по бамперу, по капоту, по дверцам, по фарам, по изящной эмблеме на радиаторе. Бронированное стекло в окнах выдержало, но было заплевано харкотинной. Ветровое стекло было покрыто узорчатой паутиной трещин, как будто перенесло внутреннее кристаллоизлияние. Когда я увидел эти следы вандализма, мне стало дурно. Я чуть не упал. Какой-то негодяй сделал с моей машиной то же, что, как я слышал, делают крысы – тучей растекаются по складу и прогрызают мешки с мукой – просто так, для забавы. Я чувствовал, что мне тоже прогрызли сердце.

«Мерседес» был приобретен в ту пору, когда мой месячный доход превышал сто тысяч долларов, что привлекло внимание налоговой службы, которая стала аккуратно подсчитывать мои гонорары. В это утро я и собрался поговорить с Уильямом Мурра, дипломированным бухгалтером-экспертом, который уже два раза отстаивал в суде мои интересы перед федеральным правительством. Хотя мои доходы упали до самого низкого за много лет уровня, налоговые инспекторы по-прежнему следили за мной.

«Мерседес-SL» я купил из-за моей новой подруги Ренаты. Увидев мой «додж», она сказала: «Разве это машина для знаменитости? Тут какое-то недоразумение». Я пытался объяснить, что слишком привязываюсь к вещам и людям и мне не нужен автомобиль за восемнадцать тысяч. Мне придется соответствовать такой великолепной машине, и, следовательно, я

не буду самим собой за рулем. Но Рената отмахнулась от моих объяснений, заявив, что я не умею тратить деньги, не забочусь о себе, упускаю возможности, которые приносит успех, даже побаиваюсь его. Рената была по профессии декоратором и, естественно, знала толк в стиле и показухе. Тогда меня и посетила грандиозная идея. Пусть мы с Ренатой будем как Антоний с Клеопатрой. Пусть в Тибре тонет Рим. Пусть целый свет видит, как хорошая пара раскатывает по улицам Чикаго на серебристом «мерседесе», и его мотор тикает, как хитроумная игрушечная сороконожка, как швейцарский «Аккутрон», нет, как «Одемар пигет» на настоящих алмазах! Короче говоря, «мерседес» стал продолжением меня самого (со стороны глупости и тщеславия). Так что нападение на него – это нападение на меня. Есть тысячи способов реагировать на такую чрезвычайную ситуацию. Какой выбрать?

Однако как это могло произойти на большой улице, пусть даже ночью? Ведь грохот стоял ужасающий, почище, чем от клепального аппарата. Конечно, уроки партизанской войны в джунглях не пропадают даром. Ее тактику применяют во всех крупных городах мира. Бомбы рвутся в Милане и Лондоне. Но я-то живу в сравнительно спокойном квартале и оставляю машину за углом моей высотки, в тихом и узком переулке. И как же швейцар, неужели не слышал грохот? Так или нет, увидев из окна драку на улице, народ, как правило, запирает двери. Услышав пистолетный выстрел, говорят: «Выхлоп». Что до ночного сторожа, то в час ночи он запирает двери и моет полы, переодевшись в подвале в рабочую робу. Когда поздно вечеромходишь в подъезд, в нос бьет едкая вонь мыльного порошка и кисловатый запах грубой хлопчатобумажной ткани, пропитавшейся потом (как от гниющих груш). Нет, сторож преступникам был не помеха. Полиция тоже не помеха. Увидев, что патрульная машина проехала и в ближайшие пятнадцать минут будет объезжать другие улицы, они выскочили из укрытия с битами, молотками, ломками.

Я прекрасно знал, чьих это рук дело. Меня предупреждали, предупреждали снова и снова. Посреди ночи вдруг звонил телефон, я спросонья тянул к аппарату руку и, еще не поднеся трубку к уху, слышал:

– Ситрин, это ты? Ситрин?

– Да, это я. В чем дело?

– Ты, сукин сын, плати должок! Погляди, что ты со мной делаешь.

– Что я делаю? И с кем?

– Со мной, мать твою так. Возобнови действие того поганого чека на мое имя, Ситрин.

Не толкай меня на крайность, понял?

– Я еще сплю...

– А я не сплю! Почему ты должен спать?

– Сейчас, сейчас проснусь, мистер...

– Никаких имен! Мы о чеке говорим, понял? Четыреста пятьдесят баксов! Больше нам говорить не о чем!

Эти хулиганские ночные угрозы – и кому? Мне, человеку особой душевной организации и ни в чем до смешного не повинному. Эти угрозы смешили меня. Мою манеру смеяться часто критикуют. Одних, благорасположенных, она забавляет, остальных оскорбляет.

– Ты мне это брось смеяться, – слышался голос. – Нормальные люди так не смеются. И вообще, ты над кем смеешься, гад ты несчастный?! Продулся – плати. Покер тебе не игрушка. Ты, конечно, скажешь, что не на интерес перекидывались или что был пьян. Но это все бред собачий. И ты еще хочешь, чтобы я успокоился? После такой пощечины?

– Ты же знаешь, почему я приостановил действие чека. Вы со своим приятелем мухлевали.

– А ты видел, что мы мухлевали, видел?

– Хозяин дома видел. Джордж Суибл божится, что вы придерживали.

– Чего же он молчал? Спустил бы нас с лестницы.

– Боялся связываться.

– Кто, тот здоровенный мудака? Не делай мне смешно, Ситрин. Господи, да у него щеки как яблоки. Еще бы! По пять миль в день пробегает, и витаминов у него в аптечке полно. Человек семь-восемь за столом сидело. Справились бы с нами двумя. Не-а, твой дружок просто трус.

– Да, не удался вечер, – сказал я. – Я здорово набрался, хоть ты и не веришь. Остальные тоже как с ума посходили. Будем рассуждать спокойно...

– Что-о? Ты замораживаешь чек и хочешь, чтобы я рассуждал спокойно? За кого ты меня принимаешь? За молокососа какого? Напрасно я встрял в этот разговор об образовании. Видел, как ты посмотрел на меня, когда я сказал, в какой коровий колледж ходил.

– При чем тут колледж?

– При том. Ты вот сочиняешь, о тебе в «Кто есть кто» пишут, и вообще ты тупая задница. Ни хера не смыслишь.

– В два часа ночи трудно смыслить. Не могли бы мы поговорить днем, на ясную голову?

– Все, разговор окончен, – сказал он и повторил это трижды.

Ринальдо Кантебиле звонил мне раз десять, не меньше, и каждый раз – по ночам. Покойный фон Гумбольдт тоже использовал драматизм ночного времени, чтобы изводить и шантажировать людей.

Приостановить действие чека настоятельно посоветовал мне Джордж Суибл, мой старый приятель. Мы дружили с ним с пятого класса, и я преклоняюсь перед давними друзьями, хотя меня не раз предупреждали, что полагаться на них нельзя и это ужасная слабость – зависеть от них. Когда-то Джордж был актером, но давно бросил сцену и стал строительным подрядчиком. Мужчина он был видный, широкоплечий, румяный. Внешность, манеры, одежда – все в нем было броско, напоказ. Много лет назад он вызвался просветить меня по части преступного мира. От него я узнавал новости об уголовниках, проститутках, скачках, мошеннических предприятиях, о торговле наркотиками, изнанке политической жизни, о деятельности синдиката. Джордж успел поработать в журналах, на радио и телевидении, у него были обширные связи, он водил знакомство со многими людьми, «от чистых до нечистых», по его выражению. Я, ничуть не претендуя на это, числился среди больших «чистых».

– Ты играл и проигрался за моим кухонным столом, – сказал он, – и потому слушай сюда. Эти подонки жульничали.

– В таком случае тебе следовало поймать их за руку. Кантебиле прав.

– Кто? Это полнейшее ничтожество? Если б он задолжал тебе три бакса, за ним пришлось бы гоняться по всему Чикаго. Вдобавок он накурился «травки».

– Я этого не заметил.

– Ты вообще ничего не замечаешь. Я раз десять подавал тебе знаки.

– Не помню. Наверное, не видел.

– Кантебиле весь вечер тебя обрабатывал. Пудрил мозги. Распространялся об искусстве и о психологии, о клубе «Книга месяца». Хвастался своей образованной женой. А ты развесил уши и сам болтал о чем не следует, о чем я просил вообще не упоминать. Поднимал сдуру ставки, какая бы ни пришла карта.

– Джордж, меня измучили его ночные звонки. Знаешь, я заплачу ему. А что? Мне всем приходится платить. Я должен избавиться от этого сумасшедшего. Заплачу, и дело с концом.

– Никаких «заплачу»! – Джордж умеет театрально возвышать голос, метать гневные взгляды, производить впечатление. – Слушай, что я тебе скажу... Мы имеем дело с гангстерами...

– Кантебилей в рэкрете больше нет. Их давно вышвырнули вон. Я ж говорил тебе...

– Значит, работает под гангстера, и неплохо работает. В два часа ночи мне кажется, что со мной разговаривает настоящий бандит.

– Да он просто насмотрелся «Крестного отца» и отрастил себе итальянские усики. А на самом деле он зарвавшийся и никому не нужный горлопан. Они с двоюродным братцем – отбросы общества. Их и на порог не следовало пускать. Играют в «крупных» и «шулеров». Я пытался остановить тебя, но ты ни в какую. Хорошо еще, что заставил тебя заморозить чек. Теперь – никаких уступок. Конец этой дурацкой истории, поверь.

Так я подчинился Джорджу. Не мог поступить ему наперекор. И вот Кантебиле искорежил мой автомобиль. У меня кровь от сердца отхлынула, когда я увидел, что он наделал. Прислонился к стене, чтобы не упасть. Вот как оно бывает: выходишь вечером развлечься с плебейми и попадаешь из-за каких-то психов в ад.

«Плебеи» – это не мое выражение. Оно принадлежит моей бывшей жене. Дениза обожала словечки вроде «плебей», «простонародье», «пошлятина». Весть о печальной судьбе бедного «мерседеса» доставила ей глубокое удовлетворение. Между нами давно шла война, а Дениза, надо сказать, особа воинственная. Она возненавидела мою подругу Ренату, справедливо связывая ее с моей новой машиной. Джорджа Суибла она терпеть не могла. Что до самого Джорджа, то его отношение к Денизе было более сложным. Он говорил, что она чертовски красива, но красота ее какая-то нечеловеческая. Большие лучистые аметистовые глаза, низкий лоб, острые, как у ведьмы, зубы подтверждали его мнение. Дениза прелестна, изысканна, но характер у нее неистовый. У Джорджа, человека вполне земного, есть свои мифы, особенно насчет женщин. Взглядов он придерживается юнгианских, каковые и высказывает с грубоватой прямотой. Он тонко чувствует, и это удручает его, потому что эмоции изнашивают сердце. Так или иначе, Дениза залилась бы счастливым смехом, увидев мой искореженный «мерседес». А я сам? Можно подумать, что, состоя в разводе, я нахожусь вне досягаемости вечных жениных «я-же-говорила». Ничего подобного. Мне снова слышался голос Денизы.

Она постоянно шпыняла меня. «Не пойму, как ты так можешь, – говорила она. – Человек, у которого столько замечательных мыслей, автор многих книг, тебя знают и уважают ученые и интеллектуалы по всему миру. Я иногда спрашиваю себя: неужели это мой муж? Неужели я – только подумать, я! – живу с этим человеком? Ты читал лекции в старейших университетах Восточного побережья. Тебе присваивали звания и степени, давали стипендии. Де Голль сделал тебя кавалером ордена Почетного легиона. Кеннеди приглашал нас в Белый дом. На Бродвее у тебя идет пьеса. А сейчас? Чем ты занят сейчас? Водишь дружбу со школьными приятелями, с какими-то чудаками, недоумками, уродами. Это же психическое самоубийство, честное слово! Подсознательная тяга к смерти. Почему ты не хочешь общаться с интересными людьми? С архитекторами, медиками, университетскими профессорами? А как я старалась устроить нашу жизнь, когда ты настоял на том, чтобы переехать сюда! Мы могли поселиться в Лондоне или Париже, в Нью-Йорке на худой конец. Так нет, тебе подавай Чикаго. Этот безобразный, вульгарный, опасный город. И знаешь почему? Потому что в душе ты был и остаешься шпаной из старых трущоб Уэст-Сайда. Я устала принимать...»

В ее обличениях были крупные зерна правды. Моя старая матушка сказала бы о Денизе: «Edel, gebildet, gelassen³».

Да, Дениза принадлежала к высшему классу. Она росла в Хайленд-парке. Училась в Васаровском колледже. Однако ее отец, федеральный судья, тоже вышел из чикагских трущоб, а дед под руководством Морриса Эллера заправлял делами в крохотном избирательном округе. Было это в бурные дни Большого Билла Томпсона. Мать Денизы вышла замуж за будущего судью, когда тот был юнцом и всего-навсего сыном мелкого плутоватого политика, вытравив из него плебейство и сделала человеком. Дениза рассчитывала совершить ту же операцию над мной. Но как ни странно, отцовская кровь возобладала в ней над материнской. Когда она бывала не в духе, в ее пронзительном напряженном голосе слышались грубые ноты мелкого

³ «Знатна, образованна, невозмутима» (нем.).

политикана и торговца, ее деда. Возможно, именно из-за своих простонародных корней она на дух не выносила Джорджа Суибла.

– Не смей приводить его в дом, слышишь? – говорила Дениза. – Не желаю видеть его задницу на моем диване, а его лапы – на ковре. Он как перекормленный породистый рысак, которому нужна коза в стойле – чтобы перебеситься.

– Он мой хороший друг, давний друг.

– Непонятная слабость в отношении школьных приятелей. У тебя просто *nostalgie de la boue*⁴. Он тебя к девкам водит?

Я старался говорить как можно спокойнее, но, признаться, не ждал прекращения наших распрей и нередко сам лез на рожон. Как-то вечером, когда у прислуги был выходной, я пригласил Джорджа поужинать с нами. Отсутствие горничной причиняло Денизе душевные страдания. Работа по дому была для нас крестной мукой. Необходимость готовить еду убивала ее. Она предложила пойти в ресторан, но мне не хотелось выбираться из дома. В шесть часов, когда Дениза наскоро смешала кусочки рубленого мяса с помидорами и фасолью и посыпала блюдо толченым перцем, я сказал Джорджу:

– Пойдем, отведаешь нашего чили, у меня и пиво есть, несколько бутылок.

Дениза знаком позвала меня на кухню.

– Не желаю! – выкрикнула она. Вид у нее был воинственный, голос пронзительный, отчетливое арпеджио, приближающееся к истерике.

– Тише, он может услышать, – понизив голос, сказал я. – Пусть попробует твоего *chili con carne*.

– Его на всех не хватит. У нас нашлось только полфунта мяса. Но дело не в этом. Дело в том, что я не желаю его обслуживать!

Я рассмеялся, отчасти от замешательства. При нормальных обстоятельствах у меня низкий баритон, почти басса профундо, но в минуты сильного волнения мой голос улетает в самые верхние регистры, в зону слышимости летучих мышей.

– Ты только послушай себя, визжишь как резаный. Ты сам не свой, когда так смеешься. Нет, тебя определенно родили в угольной яме, а воспитывали среди попугаев.

Ее огромные фиолетовые глаза говорили, что она ни за что не уступит.

– Ну хорошо, – сказал я и повел Джорджа в «Минеральные воды». Мавр в тюрбане принес нам шашлык на угольях.

– Не хочу вмешиваться в твою семейную жизнь, – сказал Джордж, – но мне кажется, тебе трудно дышать.

Джордж убежден, что имеет право говорить от имени Природы. Он доверяется инстинкту, сердцу. Он биоцентричен. Видеть, как Джордж втирает в свои бицепсы и могучую бен-гуровскую грудь оливковое масло, значит получить урок благоговения перед организмом. Оливковое масло – это солнце античного Средиземноморья. Нет лучшего средства для работы пищеварительного тракта, для волос и для кожи. Он чрезвычайно высоко ценит свое тело. Поклоняется носоглотке, глазам, ногам.

– Тебе не хватает воздуха с этой женщиной, – заметил он, делая большой глоток из бутылки. – У тебя такой вид, будто ты задыхаешься. Твои ткани получают недостаточно кислорода. Она тебя до рака доведет.

– Она, видимо, считает, что дает мне все блага американского брака. У настоящих американцев мужья страдают от жен, а жены от мужей. Посмотри на мистера и миссис Авраам Линкольн. Семейный раздор – это классическая беда в США, и иммигрантский сын должен испытывать благодарность за такой брак. А для еврея это вообще шанс.

⁴ Ностальгия по грязи (*фр.*).

Да, Денизу должна переполнять радость при вести о злодеянии, учиненном над моей машиной. Она видела, как гоняет на серебристом «мерседесе» Рената. «А ты сидишь рядышком и лыбишься как последний идиот. Здорово лысеешь, милый, скоро голова будет как голое колено, хоть и зачесываешь жалкие волосенки с висков поперек плечи. Смейся, смейся, она устроит тебе желтую жизнь, эта жирная шлюха». От оскорблений Дениза переходила к пророчествам. «Твои умственные способности иссякнут. Ты жертвуешь ими ради удовлетворения своих сексуальных потребностей – если, конечно, они у тебя еще остались. О чем вам двоим еще говорить после того, как потрахаетесь?.. Да, ты настрочил несколько книжонок и бродвейскую пьеску сварганил, но и те наполовину за тебя негры писали. Со знаменитостями общался, вроде фон Гумбольдта Флейшера, и вообразил, будто ты художник. Но мы-то с тобой знаем, что почем, правда? И знаем, чего ты хочешь. Хочешь, чтобы тебя не трогали, хочешь быть сам себе хозяином. Чтобы только ты и твое непонятное сердце. Ты не способен на серьезную привязанность. Поэтому и бросил меня с двумя детьми. Завел себе толстую потаскуху. Ни стыда ни совести у нее. Лифчик не носит, буфера выставит, соски торчком. Собираешь у себя полуграмотное жидовье и хулиганье всякое. Тебя распирает от самодовольства, пыжишься как индеек. Остальные, мол, мне в подметки не годятся... Да, Чарли, я хотела и могла тебе помочь. Но теперь поздно!»

Я не спорил с Денизой, так как все еще испытывал к ней симпатию. Она говорила, что я плохо живу, и я соглашался. Считала, что у меня не все дома, и надо быть последним идиотом, чтобы это отрицать. Уверяла, что я пишу всякую чушь, которую никто не понимает. Очень может быть. Моя последняя книга «Некоторые американцы» с подзаголовком «Что значит жить в США» расходилась хуже некуда. Издатели умоляли меня не печатать ее. Обещали списать аванс в двадцать тысяч долларов, если я спрячу рукопись подальше. Но я заупрямился, и сейчас пишу часть вторую. Вся жизнь пошла наперекосяк.

И все-таки у меня есть привязанность, и я верен ей. Верен новой идее.

«Зачем ты привез меня в Чикаго? – горячилась Дениза. – Чтобы я была поближе к твоим усопшим? Здесь вся твоя родня похоронена. Поэтому, да? Земля, где покоятся твои еврейские предки? Ты притащил меня на это кладбище, чтобы петь заупокойную? И все потому, что ты мнишь себя замечательной благородной личностью. Как бы не так!»

Нападки Денизе полезнее витаминов. Я же считаю, что в любом недоразумении масса ценных моментов. Мое последнее, пусть молчаливое слово Денизе всегда было одно и то же. При всей сообразительности и остроте ума она вредила моей идее. С этой точки зрения Рената была лучше – больше подходила мне.

Рената запретила мне ездить на «додже». В демонстрационном зале я попытался поговорить с мерседесовскими продавцами насчет подержанного 250-го. Но Рената – крупная, прямая, яркая, ароматная – решительно положила руку на серебристый капот и сказала: «Вот эту, двухместную!» Видно, в ладони ее таилась какая-то волшебная сила: я почувствовал, как она словно прикоснулась ко мне.

Однако что-то следовало предпринимать с разбитой машиной. Прежде всего поговорить с нашим швейцаром Роландом, тощим пожилым небритым негром. Если я не обманываюсь (что вполне вероятно), Роланд Стайлз всегда был на моей стороне. Фантазируя о том, как буду умирать в своей холостяцкой квартире, я всегда вижу Роланда. Прежде чем позвонить в полицию, он собирает в сумку кое-какие вещи. Роланд делает это с моего благословения. Особенно ему пригодится моя электрическая бритва. Побрить лезвием иссиня-черное морщинистое, в рябинках лицо практически невозможно.

Роланд, одетый в униформу цвета электрик, пребывал в крайнем беспокойстве. Он увидел разбитую машину, придя утром на работу.

– Ничего не могу вам сказать, миста Ситрин.

Жильцы, вышедшие поутру из дома, тоже ее видели.

Они знают, кому принадлежит этот «мерседес».

– Поганое дело, – сказал, состроив сердитую мину и топорща усы, Роланд.

Человек он был сообразительный и постоянно подшучивал надо мной из-за навещавших меня прелестных женщин.

– На «фольксвагенах» приезжают и на «кадиллаках», на велосипедах и мотоциклах, и пешком приходят. И все спрашивают, когда вы ушли и когда вернетесь, и записочки оставляют. Приходят, приходят и приходят. Любят вас дамочки. Уж не знаю, сколько мужей имеют на вас зуб.

Но сейчас было не до шуточек. Роланд недаром шестьдесят лет был негром. Он знал, что такое ад и психоз. Нарушена неприкосновенность, благодаря которой мои привычки казались такими забавными.

– Вот беда так беда, – сказал он и пробормотал что-то насчет «Мисс Вселенной» – так он называл Ренату. Иногда она за пару долларов просила его присмотреть за своим сынишкой. Мальчик играл в швейцарской, а его мама лежала у меня в постели. Мне это было не по душе, но нельзя быть смешным любовником наполовину.

– И что же мне делать? – спросил я.

Роланд выставил вперед руки и пожал плечами.

– Позвать полицию.

Да, надо подать заявление, хотя бы ради страховки. Страховая компания, конечно, сочтет происшествие очень странным.

– Ладно, остановите дежурную машину. Пусть эти бездельники сами посмотрят, что случилось. А потом скажите, чтобы поднялись ко мне.

Я дал ему доллар за труды. Всегда так делаю.

Перед дверью в свою квартиру я услышал, что звонит телефон. Это был Кантебиле.

– Порядок, умник?

– Это же безумие! – воскликнул я. – Вандализм! Искорежить машину!..

– Значит, видел? Видел, на что ты меня толкнул?! – заорал он, хотя голос его дрожал.

– Я толкнул? Ты еще меня винишь?

– Тебя предупреждали...

– Я толкнул тебя изуродовать великолепную машину?

– Конечно, кто же еще! Думаешь, я бесчувственная скотина? Думаешь, мне не жалко такую тачку? Дурак – вот ты кто. Сам во всем виноват! – Я попытался возразить, но он перекричал меня: – Да, ты толкнул меня на это! Ты, слышишь? И учти, это только первый шаг.

– Что ты имеешь в виду?

– Не заплатишь – сам увидишь, что я имею в виду.

– Ты что, угрожаешь мне? Это ни в какие ворота... Уж не собираешься ли ты моих дочерей?..

– Я детей не коллекционирую. Ты даже не догадываешься, в какую историю вляпался. Ты еще не знаешь меня. Протри глаза, поц!

Я часто говорю «Протри глаза!» самому себе, и многие другие мне тоже: «Протри глаза!» – как будто у меня их дюжина и я из-за упрямства держу их закрытыми. «Имеете глаза и не видите» – это в самую точку сказано.

Кантебиле между тем говорил и говорил:

– Валяй к своему Джорджу Суиблу, спроси, что делать. Ведь это он тебе присоветовал. Считай, что он и расколошматил твою машину.

– Хорошо, хорошо. Мы же можем договориться...

– Никаких «договориться»! Плати – и все. Плати по полной и наличными. Нечего мудохаться с бумажками и прочим говном. Только наличными! Я позвоню тебе. Мы встретимся.

– Когда?

– Не твое собачье дело. Сиди у телефона и жди.

В ту же секунду я услышал в трубке вечное и всеобщее электронное мяуканье. Я был в отчаянии. Просто необходимо с кем-то посоветоваться.

Верный признак несчастья – вихрь телефонов в голове: коды регионов и цифры, цифры... Необходимо позвонить кому-нибудь. Первым, кому я позвонил, был, конечно, Джордж Суибл. Надо сказать ему, что произошло, и предупредить. Сумасшедший Кантебиле может наехать и на него.

Джорджа на месте не оказалось. Где-то фундамент закладывают, сказала Шерон, его секретарша. До того как стать бизнесменом, Джордж, как я уже говорил, был актером. Начинал он в Федеральном театре. Потом был диктором на радио, работал на телевидении и в Голливуде. Он любил похвастаться перед деловыми людьми своими приключениями в мире развлечений. Джордж знал Ибсена и Брехта и часто летал в Миннеаполис на спектакли «Театра Гатри». В южном Чикаго его считали представителем богемы, человеком искусства. Джордж был прям и великодушен, полон жизненных сил. Неудивительно, что люди тянулись к нему. Взять ту же крошку Шерон, его секретаршу. Девчонка из захолустья, низкорослая, со странным выражением лица, она походила на Матушку Йокум из мультиков. Обозрев южный Чикаго, Шерон нашла там одного-единственного человека. Джордж был для нее братом, лечащим врачом, священником, главой племени. Когда я разговаривал с ней, у меня хватало присутствия духа кое о чем умолчать. Обычный день Джорджа – это цепочка кризисов. Смысл своей работы Шерон видела в том, чтобы оградить его от неприятностей. «Скажи Джорджу, чтобы он перезвонил мне», – попросил я и, положив трубку, задумался над кризисным мироощущением в Америке, возникшим еще во времена поселенцев. Я думал о таких вещах в силу привычки. Пусть душа ваша разрывается на части – вы не перестаете анализировать это явление.

Я едва сдержал желание взвыть с горя. Нет, надо самому, без посторонней помощи, взять себя в руки. Ренате я звонить не стал. Она не умеет утешать по телефону. Ее утешение требует личного присутствия.

Теперь вот приходится ждать звонка Кантебиле и полиции. Да, надо сообщить Мурра, что я не приду, хотя он все равно включит этот час в счет, как это делают и психиатры, и прочие специалисты. Днем я должен был отвести дочек Лиш и Мэри на занятия фортепьяно – недаром «Фортепьянная компания Гулбрансена» расклеила на чикагских стенах объявление: «Даже самый богатый ребенок беден без музыкального образования». Мои дочери – дети состоятельного родителя, и негоже, если они вырастут, не научившись играть «Für Elise» и «Веселого крестьянина».

Надо успокоиться. Надо сделать упражнение по системе йогов, единственное, которое я знал. Я высыпал из карманов мелочь, вытащил ключи, снял ботинки, занял соответствующее положение и – р-раз! – встал на голову. Я стоял на голове, а моя любимая машина, мой серебристый «Мерседес-280», мое сокровище, моя любовь стояла искореженная на улице. Никакой ремонт кузова за две тысячи не возвратит ей первоначальную гладкость. Фары были разбиты. У меня не хватило духа открыть дверцы: их наверняка заклинило. Я попытался направить мысли в русло ярости и ненависти – отмщения, сударь, отмщения! – но спохватился. Нет, это ничего не даст. Я только видел немца-инструктора в белом врачебном халате, он говорил, что запасные части надо выписывать из Германии. Я в отчаянии схватился обеими руками за лысеющую голову, большие дрожащие ноги болтались в воздухе, перед глазами плыл зеленый персидский ковер. Щемило сердце, я был безутешен. Красивые узоры ковра всегда приносили мне утешение. Я любил ковры, а этот был настоящим произведением искусства. Пушистые зеленые узоры были изящны и многообразны, а красные нити такого удивительного оттенка, который идет, казалось, из самого сердца. Правда, Стриблинг, один из городских ценителей прекрасного, уверял, что за деньги, заплаченные мною, я мог бы иметь ковер и получше. Цены

на изделия ручной работы сейчас резко подскочили. Стриблинг – отличный человек, он держал лошадей, но теперь располнел, стал тяжеловат для верховой езды. В наши дни мало кто делает что-нибудь полезное и хорошее. Например я. Разве это серьезно – попасть в эту трагифарсовую историю, имя которой «“Мерседес” и Дно»? Стоя на голове, я понимал, не мог не понять: у этой гротесковой ситуации есть своего рода научное объяснение, поскольку одна из самых влиятельных теорий в современном мире утверждает: для того чтобы полностью реализовать себя, надо признать уродливость и абсурдность, заключающуюся в сердцевине нашей сокровенной сути (она есть, эта сокровенная суть, мы знаем!). Пусть тебя лечат унижительные истины, что содержатся в Бессознательном. Я не большой сторонник этой теории, но отрицать ее не могу. У меня талант к абсурдности, а талантами не разбрасываются.

Я с сожалением думал о том, что страховая компания не заплатит ни цента в порядке возмещения причиненного мне ущерба, хотя я принял все меры безопасности, рекомендованные ими, и купил всяких защитных приспособлений. В тексте договора наверняка есть напечатанный мелким шрифтом пункт, гарантирующий им выгоду. При Никсоне крупные корпорации будто опьянели от безнаказанности, к ним не подступишься. Старые буржуазные добродетели, даже те, что служили всего лишь рекламой, исчезли навсегда.

Стоять на голове я научился у Джорджа. Он неустанно втолковывал мне, что я не забочусь о своем теле. Несколько лет назад сказал, что у меня на шее появляются складки, плохой цвет лица и я быстро выдыхаюсь при малейшей физической нагрузке. В среднем возрасте настает момент, доказывал он, когда человек должен оказать сопротивление времени, иначе раздается живот, слабеют бедра и грудные мышцы обвисают, как у женщин. Между тем существует способ стариться достойно, благородно. Джордж рьяно применял его на себе. На другой день после операции на желчном пузыре он сполз с постели и начал отжиматься – и отжался ровным счетом пятьдесят раз. Думал, что знает свой организм. Ну и, естественно, заработал перитонит и двое суток был на волосок от смерти. Но недуги только воодушевляли его, Джордж от всего сам находил лекарства. Недавно говорит мне:

– Просыпаюсь позавчера и вижу под мышкой какой-то комок.

– Пошел к доктору?

– Не-ет. Помазал зубной пастой, и порядок.

– Ну и...

– Вчера смотрю, комок раздулся как яйцо, но я все равно не стал обращаться к врачу. Снова помазал зубной пастой, сделал повязку – тугую-претугую. И знаешь, все прошло. Хочешь посмотреть?

Однажды я пожаловался, что побаливает шея. Тогда-то он и прописал мне стояние на голове. Я всплеснул руками и рассмеялся (и был, верно, похож на одну из лягушек-уродцев, изображенных Гойей в его «Vision Burleska»). И тем не менее я последовал его совету. Научился стоять на голове, и боли в шее прошли. Потом у меня появились сложности с мочеиспусканием, и я тоже спросил совета.

– Это простата, – объяснил Джордж. – Начинаешь отливать, и вдруг – ни в какую, потом снова тоненькая струйка или вообще по капельке выходит. К тому же щиплет, и ты чувствуешь, будто тебя унизили – так?

– Именно.

– Не горюй. Когда встанешь на голову, постарайся сжать ягодичы, как бы вобрать их в себя.

– Но зачем вставать на голову-то? Мне и так кажется, что я чувствую себя, как старый папаша Уильям из баллады Льюиса Кэрролла.

Но он был неумолим.

– На голову!

Его метод опять сработал. Восстановилось нормальное мочеиспускание.

Иные видят в Джордже только солидного розовощекого добродушного подрядчика-строителя. Зато в моих глазах он человек непостижимый, недоступный внешним влияниям, неизвестная карта из колоды. И если я сейчас встал на голову, то опять-таки благодаря Джорджу. Он первый, кому я звоню, попав в беду. Я уже в таком возрасте, когда человека начинают одолевать неврозы. Ничего не могу поделать, когда чувствую необходимость в посторонней помощи, меня словно тянет на берег какого-то водоема психики, и я знаю, что, если бросить туда крошек, обязательно выплывет мой карп. Внутри человека, как и во внешнем мире, происходит масса всевозможных явлений. Одно время я думал, что хорошо бы разбить для них парк-заповедник и держать там свои причуды, капризы, неврозы, как держат птиц, рыб, цветы.

Это ужасно, когда не к кому обратиться за помощью. Крестная мука – ждать звонка, телефонного или в дверь. От ожидания покалывает в сердце. И все-таки после стояния на голове мне полегчало. Я свободнее дышал. Но, стоя вверх ногами, я увидел два больших ярких круга. Такое иногда случается во время этого упражнения. Когда голова находится внизу, неизбежно приходит мысль о кровоизлиянии в мозг. Доктор категорически не советовал мне становиться на голову. Он говорил, что, если подвесить цыпленка вверх ногами, через семь-восемь минут тот умирает. Но я думаю, он умирает со страху. Напуган до смерти. Яркие круги перед глазами – очевидно, результат притока крови к роговой оболочке. Когда вес всего туловища приходится на черепную коробку, возникает ощущение, будто приоткрываются какие-то окна и ты видишь вечность. В этот день я был готов к вечности, поверьте.

Позади меня стояла книжная полка. Я видел ряды собственных книг. Однажды я попытался убрать их в шкаф, с глаз долой, но Рената принесла их назад и снова расставила на полке. Стоя на голове, я предпочитаю смотреть на небо, на облака. Разглядывать облака вверх ногами – несказанное удовольствие. Но сейчас я видел книги, которые принесли мне деньги, признание, премии. Вот многочисленные издания «Фон Тренка» на разных языках. Вот несколько экземпляров моей любимой работы, моей великолепной неудачи. «Некоторые американцы. Что значит жить в США». Пока «Фон Тренк» шел на Бродвее, он приносил мне восемь тысяч еженедельно. Правительство, никогда не проявлявшее интереса к моей персоне, немедленно заявило свои претензии на семьдесят процентов гонорара. Но это меня не огорчило. Кесарю кесарево. По крайней мере знаешь, что должен отдать деньги. Они принадлежат кесарю. Кроме того «*Radix malorum est cupiditas*», или, как говорится в Новом Завете: «Корень всех зол есть сребролюбие». Я это тоже знал.

Я знал все, что положено знать, и ничего из того, что действительно нужно. Я, считай, профукал все свои денежки. Это меня многому научило. Америка вознаградила своих сыновей и дочерей всеобщим образованием. Образование отчасти даже заменило наказание в нашей пенитенциарной системе. У нас любая большая тюрьма – это людный, хорошо посещаемый семинар. Яростных тигров скрестили с обучающими и наставляющими лошадьми, и помесь получилась такая, о какой и в Апокалипсисе не прочитаешь. Не буду углубляться, только скажу, что я потерял большую часть денег, за которые фон Гумбольдт костил меня на чем свет стоит. Деньги быстро встали между нами. Он воспользовался чеком на несколько тысяч долларов. Я не стал с ним объясняться и не обратился в суд. Начнись процесс, Гумбольдт был бы вне себя от счастья. Его одолевала страсть к сутяжничеству. Чек, по которому он получил деньги, был действительно подписан мной, и стоило немалого труда доказать свою правоту. Я вообще не выношу судебные слушания. Судьи, адвокаты, судебные приставы, стенографистки, скамьи, ковры, даже графины с водой – все это я ненавижу до смерти. Кроме того, я был в Южной Америке, когда Гумбольдт умудрился получить деньги. Его только что выпустили из Белвью, и он носился по Нью-Йорку, наводя страх на знакомых и незнакомых. Обуздать его было некому. Кэтлин ушла в подполье. Его полусумасшедшая старуха мать была в богадельне. Его дядя Вольдемар был из тех добрых дядюшек, которые пальцем не шевельнут для блага близких. Может быть, Гумбольдт смутно догадывался, какое удовольствие он доставляет так

называемой культурной публике, судачащей о его срывах. Общество всегда ценило драматичную роль, которую играли разочарованные, опустошенные, свихнувшиеся, стоящие на пороге самоубийства литераторы и живописцы. В ту пору Гумбольдт воплощал пламенную Неудачу, а я – народившийся Успех. Успех оглушил меня, вселил в меня чувство стыда и вины. Пьесу, которую каждый вечер играли на сцене «Беласко», написал не я. Чарли Ситрин только принес отрез, из которого режиссер выкроил и сшил своего фон Тренка. «Что ж, – пробормотал я себе под нос. – Бродвей недаром соседствует и сливается с кварталами модной одежды».

Полицейские звонят в дверь по-особому. Звонят грубо, зверски. Еще бы, мы переходим на совершенно новую ступень в истории человеческого интеллекта. Полицейских обязывают изучать психологию, и они выработали в себе восприимчивость к фарсу городской жизни. На мой персидский ковер ступили два дюжих негра с полной боевой выкладкой: пистолеты, дубинки, наручники, рация. Их забавляло это необычное происшествие – на улице расколошматили «мерседес». От обоих шел специфический запах полицейской машины, тесного, замкнутого пространства. Амуниция на них позвякивала, торчали тугие ляжки и животы.

– Никогда не видел, чтобы так раздолбали; крутые, видать, пацаны на вас наехали, – сказал один из них неопределенно, только для того, чтобы посмотреть, как я буду реагировать. Ему не надо говорить о банде, о вымогателях и гангстерах. Все и так очевидно. Вроде не похоже на рэкетира, но кто его знает. Полицейские тоже видели «Крестного отца», «Француза-святого», «Бумаги Валахи» и другие забойные фильмы. Меня самого интересовали приключения гангстеров – разве я не из Чикаго?

– Ничего не могу вам сообщить, – сказал я, изображая из себя последнего болвана. Полиции только это и надо.

– Выходит, оставляете колеса на улице? – спросил один из молодцов, мускулистый, с большим дряблым лицом. – Если б у меня гаража не было, ни одной железки не осталось бы. – Потом увидел мой орден, который Рената прикрепила к плюшевой подушечке и в рамке повесила на стену. – Что, в Корее были?

– Нет, – ответил я. – Это меня французское правительство наградило. Орден Почетного легиона, и я кавалер этого ордена. *Chevalier*. Мне его ихний посол вручил.

По случаю награждения Гумбольдт прислал мне неподписанную открытку: «Шваль – теперь имя тебе, долболом!»

Он несколько лет зачитывался «Поминками по Финнегану». Я помнил наши беседы о взглядах Джойса на язык, о любви писателя к прозе, насыщенной музыкой и многомыслием, об опасностях, которым подвергаются творения ума, о Красоте, падающей в бездну забвения, как в снежные антарктические провалы, о Блейке и Духовном Видении в противовес Локку и его *tabula rasa*. Провожая полицейских, я с печальным сердцем вспомнил наши прекрасные разговоры с Гумбольдтом. Непостижимо чудо человечества!

– Плюньте и забудьте об этой истории, все равно ничего не докажешь, – посоветовал мне коп негромким доброжелательным голосом.

Шевалье покорно наклонил голову. Я чувствовал, как у меня защипало в глазах от страстного безнадёжного желания чьей-нибудь помощи.

Орден напомнил мне о Гумбольдте. Да, Наполеон знал, что делает, когда раздавал французским интеллектуалам ленты, звезды и прочие побрякушки. Потом он набрал ученых и повез их с собой в Египет. Те нашли в устье Нила Розеттский камень. Со времен Ришелье, а то и раньше, французы отличались в культурном бизнесе. Де Голля не видели со смешной железкой на груди. Он слишком уважал себя. Те, кто купил Манхэттен у индейцев, сами бусы не носили. Я с радостью отдал бы этот орден Гумбольдту. Между прочим, немцы хотели каким-то образом отметить его вклад в культуру. В 1952 году Гумбольдта пригласили в Берлин прочесть цикл лекций в Свободном университете. Он не поехал, боялся, что его похитят агенты НКВД. Он

много лет писал для «Партизан ревью», считался видным антисталинистом, русские наверняка хотят расправиться с ним. «Если я целый год проведу в Германии, то буду думать только об одном, – заявил он публично (я был единственным слушателем). – Двенадцать месяцев я буду только евреем и ничем больше. Я не могу позволить себе выбросить на ветер целый год». Но его нежеланию ехать в Берлин есть более правдоподобное объяснение. Я лично считаю, что ему и в Нью-Йорке было хорошо – таскаться по городу, бузить, наблюдаться у психиатров, устраивать сцены. Он придумал Кэтлин любовника и попытался убить его. Он расколошматил свой «бьюик» – хозяина дорог. Он обвинил меня в том, что я обокрал его, наделив своего фон Тренка чертами его характера. Он ухитрился снять с моего счета шесть тысяч семьсот шестьдесят три доллара и пятьдесят восемь центов и купил на эти деньги – помимо прочего – «олдсмобиль». Нет, зачем ему тащиться в Германию, где никто не поймет его речей и изречений.

Из газет он потом узнал, что я стал шевалье. Сам он, по слухам, жил тогда с роскошной черной девицей, которая в училище Жюлиарда занималась по классу валторны. Но когда я последний раз видел его на Сорок шестой улице, Гумбольдт был плох – настолько плох, что вряд ли был способен жить с женщиной. Он кутался в какой-то серый балахон. Лицо у него было землистое, серое, как Ист-Ривер. Волосы такие всклокоченные, словно туда забрался непарный шелкопряд. Мне следовало бы подойти к нему, поговорить, а не прятаться за грузовиком. Но у меня не хватило духа. Утром я завтракал в «Плазе», в зале Короля Эдуарда. Потом я летал на вертолете с сенатором и Бобом Кеннеди. В модном пиджаке с умопомрачительной зеленой подкладкой я порхал по Нью-Йорку, как бабочка-однодневка. Вообще я был одет под стать Рею Робинсону, только во мне не было того боевого духа, и увидев, что мой дорогой и близкий друг одной ногой в могиле, я пустился наутек, прямехонько в Ла-Гардиа, и взял билет на 727-й рейс в Чикаго. В самолете я чуть не плакал, пил виски со льдом, меня одолевал ужас, одолевали мысли о Роке и еще одной гуманистической побрякушке – Сострадании. Из-за грузовика я шмыгнул за угол и растворился в толпе на Шестой авеню. Я шел, ноги у меня дрожали, зато зубы были стиснуты. «Гумбольдт, пока, – говорил я себе, – увидимся на том свете». Через два месяца после этого Гумбольдт вышел в три часа ночи с мусорным ведром в коридор и рухнул замертво. Было это в паршивой гостинице «Илскомб», которую вскоре снесли.

Однажды на вечеринке, устроенной для «деревенщиков» где-то в районе Сороковых улиц, я слышал, как одна молодая прелестная особа говорила Гумбольдту: «Знаете, на кого вы похожи? На человека, сошедшего с картины». Конечно, женщины, мечтающие о любви, могли видеть Гумбольдта в свои двадцать лет словно сошедшим с импрессионистского шедевра или с полотна эпохи Возрождения. Но фотография на поминальной полосе «Таймс» была ужасна. Как-то утром открываю газету и вижу Гумбольдта – больной, постаревший, непохожий на себя, он смотрел на меня мертвым взглядом с грязного газетного листа. В тот день я тоже улетал из Нью-Йорка в Чикаго – метался между двумя городами, сам не зная зачем.

Я пошел в туалет и заперся в кабинке. Люди стучали, а я плакал и не хотел выходить.

* * *

Кантебиле не заставил себя долго ждать. Он позвонил около двенадцати. Возможно, он проголодался. Помню, я где-то читал, как в конце девятнадцатого века в Париже можно было видеть пьяного, обрюзгшего Верлена – громко стуча тростью по тротуару, он шел завтракать. Потом на той же улице видели великого Пуанкаре, математика. Респектабельно одетый, неся перед собой свой огромный лоб и выделявая пальцами какие-то кривые, он тоже шел завтракать. Завтрак есть завтрак, независимо от того, кто ты – поэт, математик или гангстер.

– Слушай, поц, встречаемся сразу же после ленча, – сказал Кантебиле. – Возьми деньги и больше ничего; и не делай лишних телодвижений, понял?

– Какие телодвижения? Понятия не имею.

– Все верно, не имеешь, пока не затеешь что-нибудь со своим Джорджем Суиблом. Придешь один, понял?

– Конечно, один. Мне и в голову не приходило...

– Приходило не приходило – не важно. Не забудь захватить деньги. И чтоб новыми банкнотами. Валяй в банк и потребуй чистых бумажек. Девять новых бумажек по полсотни. Без единого пятнышка. Мне нужны чистые деньги, понял? И скажи спасибо, что не заставляю тебя съесть этот долбаный чек.

Ну разве не фашист? Но может быть, он просто запугивает меня и сам заводится, чтобы играть роль пахана. Так или иначе, у меня сейчас одна забота – отделаться от него, отделаться согласием и смирением.

– Хорошо, как скажешь. Куда принести деньги?

– Русские бани на Дивижн-стрит знаешь?

– В этот притон? Помилуй...

– Будешь там у входа в час сорок пять. И один, понял?

– Понял, – поспешил ответить я, но он не ждал моего согласия. Я снова услышал короткие гудки – как будто жаловалась разъединенная душа.

Надо трогаться. От Ренаты нечего ждать помощи. Она сегодня занята, присутствует на аукционе. Разозлится, если я позвоню туда и попрошу отвезти меня в Северо-Западный округ. Рената – прелестная и обязательная женщина, у нее замечательная грудь, но она обижается, если что-нибудь не так, и моментально заводится. Ничего, доберусь как-нибудь сам. Стоило бы отогнать «мерседес» в мастерскую. Может, даже буксир не понадобится. Потом возьму такси – или позвонить в Службу проката Эмери? Или в «Автопрокат»? Но на автобусе точно не поеду. В автобусах и поездах полно пьяниц и наркоманов, иные с пушкой в кармане. Да, но прежде всего надо позвонить Мурра и сбегать в банк. И объяснить Денизе, почему я не могу отвезти Лиш и Мэри на урок. Что-то сердце закололо. Побаиваюсь я Денизы, есть в ней какая-то сила. Музыкальные занятия дочек – это событие. Впрочем, для Денизы что ни случится – все событие, причем важное, переломное, решающее. О детях она говорила горячо, страстно. Особенно волновали ее вопросы воспитания. Если девочки не получают хорошего образования, это моя вина. Я бросил их в самый ответственный момент истории человеческой цивилизации – и чего ради? Ради Ренаты, этой «блядюшки с жирными титьками» – так называла ее Дениза. В ее глазах красавица Рената была отпетая шлюха, бабец, бандерша. Послушаешь вереницу нелестных эпитетов Денизы – подумаешь, что Рената мужик, а я – баба.

С Денизой я познакомился в «Театре Беласко», там же, где и с большими деньгами. За Мерфи Вервигером, звездой, исполнителем роли Тренка, тянулся хвост поклонниц и свита – костюмер, пресс-агент, посыльный, суфлер... Дениза была его любовницей. Жили они на улице Сент-Морис. Она приходила в театр в вельветовом комбинезоне с его ролью в руках – элегантная, стройная, с распущенными волосами, невысокой грудью и широкими плечами, напоминавшими спинку старомодного кухонного стула. У нее были большие фиалковые глаза и какой-то удивительный, не поддающийся описанию цвет лица. Из-за августовской жары задние двери за кулисами были распахнуты настежь. Солнечные лучи высвечивали убогость бутафории и декораций, остатков прежней роскоши. Театр был как позолоченное блюдо с недоеденными засохшими кусками торта. Вервигер, крупный мускулистый мужик с глубокими складками у рта, был похож на инструктора по катанию на горных лыжах. Голова у него формой смахивала на гусарский кивер: густая шапка волос над черепом. Его снедало желание показать себя личностью незаурядной, утонченной. Держа перед глазами режиссерский план, Дениза напоминала ему его реплики, делала заметки. Писала она сосредоточенно и быстро, как старательная ученица, и весь остальной пятый класс должен был угнаться за ней. Приходя спросить у меня о чем-нибудь, что касалось роли Вервигера, она прижимала текст пьесы к груди и говорила так,

будто произошло неслыханное ЧП. От дрожи в голосе ее волосы, казалось, вставали дыбом. «Вервигер хочет знать: как, по-вашему, лучше произнести вот эту реплику?» – спрашивала она. «Может, так, а может, иначе. Не вижу большой разницы», – отвечал я. Вервигер с самого начала привел меня в отчаяние. Он совершенно не понимал пьесы. Может, он лучше исполнял свою роль на Сент-Морис, не знаю. Тогда это меня не трогало. Дома я рассказывал Демми Вонгелю о потрясающей красавице, подруге Вервигера.

Через десять лет мы стали мужем и женой. Президент и миссис Кеннеди приглашали нас в Белый дом на какое-нибудь культурное мероприятие. Идти надо было в вечернем платье. Дениза консультировалась со всеми знакомыми женщинами – а таких было человек тридцать – о том, какое надеть платье, какие туфли, какие перчатки. Она была особа любознательная и следила за событиями в стране и мире. Читала Дениза в парикмахерской или косметическом кабинете. Волосы у нее были густые, тяжелые, и она носила высокую прическу. Трудно сказать, когда она «делала голову», но по разговору за ужином я всегда определял, была ли она днем у парикмахера. Читала она очень быстро и успевала узнать о подробностях очередного мирового кризиса, сидя под сушилкой. «Ты понимаешь, что сделал Хрущев в Вене?» – спрашивала Дениза. Готовясь к визиту в Белый дом, она штудировала в косметическом кабинете «Тайм», «Ньюсуик», «Юнайтед стейтс энд уорлд рипорт». По пути в Вашингтон, в самолете, Дениза уточняла факты относительно залива Свиней и ракетного кризиса. Крайняя возбудимость была свойством ее натуры. После обеда она охмутила президента – чтобы поговорить с глазу на глаз, потащила его в Красный кабинет. Она энергично продралась сквозь чащобу разграничительных линий между ее собственными проблемами – и все такие ужасные! – и запутанными делами и бедами мировой политики. Она не делала различия между личным и глобальным. И то и другое – это части единого всеобъемлющего кризиса. Я знал, что Дениза говорила Кеннеди: «Мистер президент, что мы можем предпринять?» Что ж, каждый ухаживает как умеет. Я хихикнул про себя, когда увидел их вместе. ДФК любит хорошеньких женщин, но знает, как уберечься от их чар. Подозреваю, что он тоже читал «Юнайтед стейтс энд уорлд рипорт» и был информирован немногим лучше ее. Из Денизы вышел бы отличный государственный секретарь, если бы только сыскался способ поднять ее с постели раньше одиннадцати утра. Замечательная она личность и настоящая красавица! А по части сутяжничества не уступит самому Гумбольдту Флейшеру. Тот чаще ограничивался угрозами. А Дениза после нашего развода буквально опутала меня бесконечными разорительными исками. Мир не видел более воинственной, изобретательной и тонкой истицы, нежели Дениза.

Что до Белого дома, я помню в основном внушительное высокомерие Чарльза Линдберга, жалобы Эдмунда Уилсона на то, что правительство обобрало его до нитки, музыку с Катскильских гор в исполнении оркестра военных моряков и мистера Тейта, отбивающего пальцами такт на колене соседки.

Сильнее всего Дениза горевала из-за того, что я не даю ей вести светскую жизнь. Доблестный рыцарь Ситрин, который, когда-то не щадя живота своего в тяжелейших битвах, теперь способен только на то, чтобы удовлетворять похотливую, как цыганка, бабу и в своем старческом слабоумии купил для нее роскошный «мерседес-бенц». Когда я первый раз приехал на нем за Лиш и Мэри, Дениза велела хорошенько проветрить машину. Чтобы духу Ренаты в ней не было. Она требовала выгрести из пепельницы окурки со следами губной помады – однажды она вышла из дома и проделала это сама. И уж тем более никаких салфеток, испачканных бог весть чем.

Ожидая разноса, я набрал номер Денизы. Мне повезло, к телефону подошла горничная, и я сказал: «Не могу сегодня заехать за девчонками. Машина сломалась».

Однако, сойдя вниз, я увидел, что могу втиснуться в кабину и повести машину, несмотря на бесчисленные трещины в ветровом стекле. Лишь бы только полиция меня не остановила! Для начала я потащился в банк, где потребовал новые купюры. Мне выдали их в пластиковом

конверте. Я не стал его складывать, а бережно положил в карман вместе с бумажником. Потом из телефонной будки позвонил в мастерскую по ремонту «мерседесов» и предупредил, что приеду. Нынче, видите ли, надо предупреждать. Не то что в старые добрые времена – прикатил в мастерскую, и слесари тебе рады. Затем по тому же платному телефону еще раз попытался дозвониться до Джорджа Суибла. Очевидно, во время покера я сболтнул, что маленький Джордж любил ходить с отцом в баню на углу Дивижн-стрит и Робей-стрит. Не думает ли Кантебиле сейчас застать там Джорджа?

Мальчишкой я тоже ходил с папой в Русские бани. Заведение это существует испокон веку. Внутри стоял жуткий жар – куда там тропикам! – и от этого влажного жара помещение постепенно подгнивало. Внизу, в парилке, люди на скользких полках покряхтывали от удовольствия: их хлестали дубовыми вениками, вымоченными в соляном растворе. Сырость подтачивала деревянные столбы и покрывала их бурым мшистым налетом, похожим на бобровую шкуру. Наверное, Кантебиле рассчитывает застать Джорджа голым. Иначе зачем назначать свидание в таком непотребном месте? Этот тип способен избить его, даже застрелить. Вот к чему привела моя болтовня в тот вечер, за покером!

«Шерон? Он еще не вернулся? – спросил я секретаршу Джорджа. – Слушай меня внимательно. Скажи ему, чтоб не ходил сегодня в schwitz⁵ на Дивижн-стрит. Ни в коем случае! Это опасно».

«Она нутром чует чрезвычайщину», – сказал Джордж о Шерон. Еще бы не чуют! Года два назад какой-то черный вошел в офис Джорджа в Южном округе и полоснул Шерон бритвой по горлу. Полоснул, надо сказать, виртуозно и навсегда растворился в неизвестности. «Кровь хлынула ручьем», – рассказывал Джордж. Он обмотал ей горло полотенцем и повез в больницу. Джордж и сам чует чрезвычайщину. Вечно ему подавай «истинное», «земное», корневое, изначальное. Поэтому, увидев кровь, эту живительную жидкость, он не растерялся. Конечно, Джордж тоже любит теоретизировать, он теоретизирует в духе примитивизма. Нет, этот розовощекий мускулистый здоровяк с карими глазами, полными человеческой теплоты, отнюдь не дурак, если только не излагает свои идеи. Излагает он их громко, яростно. Я только улыбаюсь, глядя на него, потому что знаю, какое у него доброе сердце. Он заботится о старых родителях, о своих сестрах, о бывшей жене и трех взрослых детях. Не выносит яйцеголовых умников, но культуру действительно любит. Иногда Джордж по целым дням, до отупения, читает трудные книжки, чтобы быть «в курсе», но без видимого успеха. Когда я знакомлю его с интеллектуалами вроде моего ученого друга Дурнвальда, он начинает подначивать их, грязно ругаться, лицо его багровеет. Сейчас настал удивительный момент в истории человеческого познания: повсеместно пробуждается от спячки ум, и демократия дает первые ростки, эпоха волнений и идейной неразберихи, главного явления века. Молодой Гумбольдт обожал мир разума, и я разделял его чувство. Но люди, с которыми чаще всего сталкиваешься, далеки от этого мира. У меня никак не складывались отношения с интеллектуальным бомондом Чикаго. Дениза приглашала к нам в дом в Кенвуде видных персон – поговорить о политике и экономике, о психологии и расовой проблеме, о сексе и преступности. Я разносил напитки, много смеялся, но мне было невесело. Я не испытывал к ним дружеских чувств. «Почему ты презираешь этих людей? – сердилась Дениза. – Только Дурнвальда и знаешь, этого скрягу». Дениза была права. Я не уважал этих людей и старался всячески унижить их. Это была моя голубая мечта, мое заветное желание. Они не признавали Истины, Добра, Красоты. Они отрицали свет души. «Ты просто жалкий сноб!» – кипятилась Дениза. Это было неточно. Неужели она не знает, что такое сноб? Так или иначе, я не хотел иметь ничего общего с этим народом – юристами, конгресс-

⁵ Парная (идиши).

менами, психиатрами, профессорами социологии, любителями искусств (коих большинство – владельцы картинных галерей).

– Ты должен познакомиться с настоящими людьми, – говорил позже Джордж. – Не с теми выскочками и шарлатанами, которыми окружила тебя Дениза. Совсем закопался в своих книгах и газетах. Совсем ушел в подполье. Так и свихнуться недолго.

– Нет, почему же, – возражал я, – есть ты и Алек Шатмер, есть добрый друг Ричард Дурнвальд. Ну и, конечно, Рената. А народ в Центральном оздоровительном клубе?

– Много толку от твоего Дурнвальда! Он же профессор из профессоров. Живые люди не интересуют его. Все-то он читал, все-то слышал. Разговаривать с ним – все равно что играть в пинг-понг с чемпионом Китая. Я подаю, а он такой драйв запустит. Снова подаю – и все, конец игре.

Джордж всегда недолюбливал Дурнвальда. Сказывалось соперничество. Он знал, как я привязан к Дику, как восхищаюсь им. В грубом прагматическом Чикаго он был едва ли не единственным человеком, с кем можно поговорить о серьезных вещах. Но Дурнвальда вот уже шесть месяцев не было в городе, читал лекции в Эдинбургском университете. Вдалбливал студентам теории Канта, Дюркгейма, Тенниса, Вебера.

– Для такого человека, как ты, абстрактная дребедень – это яд. Я тебя с мужиками из Южного округа познакомлю, – сказал Джордж и неожиданно выкрикнул: – Иначе у тебя мозги засохнут!

– О'кей, – согласился я.

Так был организован роковой вечер с покером. Гости знали, что их пригласили как людей «из низов». В наше время принадлежность к общественному слою хорошо осознается представителями этого слоя. Пришедшие догадались бы, что я из тех, кто работает головой, даже если бы Джордж не разрекламировал меня как большого человека, чье имя есть в справочниках, как кавалера французского ордена, как такого-то и такого-то. Ну и что из этого? Все равно я не был настоящей знаменитостью, поскольку не блистал в бейсболе. Для них я был еще один ученый чудила, тронутый умом. Словом, Джордж демонстрировал меня им, а их мне. Хорошо, что они не обозлились на него за организацию этого рекламного мероприятия. Джордж привел меня туда в качестве приправы к их сугубо американским бзикам. Но они сами разнообразили вечер тем, что вывернули всю ситуацию наизнанку, в результате чего явственно проступили мои бзики.

– По ходу игры ты им нравишься все больше и больше, – сказал Джордж. – Поняли, что ты нормальный мужик. К тому же Ринальдо Кантебиле их накачивал. Он и его двоюродный братец передергивали, а ты ничего не замечал, совсем упился.

– То есть выделялся на их фоне.

– Я считал, что выражение «выделяться на фоне» относится прежде всего к семейным парам. Ты заглядываешься на женщину, когда рядом с ней муж, старый пердун. На этом фоне она красавица.

– Нет, это вообще расхожее выражение.

В покер я играю неважно, да и игроки меня интересовали больше, чем игра. Один литовец жил тем, что давал напрокат смокинги, другой, молодой поляк, занимался на компьютерных курсах, третий – полицейский следователь из отдела по расследованию убийств, правда, не в форме. Рядом со мной сидел сицилиец. И наконец, Ринальдо Кантебиле и его кузен Эмиль – мелкий хулиган, способный шарить по карманам и бить камнями витрины. Наверняка он был среди тех, кто корежил мою машину. Ринальдо выглядел красиво – особенно хороши были его пушистые и мягкие, как норковая шерстка, усики – и был элегантно одет. Он отчаянно блефовал, говорил громко, стучал по столу костяшками пальцев и строил из себя бывшего человека, который плевать хотел на всяких умников. И тем не менее он говорил о Роберте Ордри, территориальном авторитете, о палеонтологических раскопках в ущелье Олдувай, о воззрениях

Конрада Лоренца. Грубовато отозвался о своей образованной половине, раскидывающей книги по всей квартире. Книжку Ордри он нашел в туалете. Одному Богу известно, почему нас тянет к другим людям, почему мы привязываемся к ним. Пруст, писатель, к которому Гумбольдт приохотил меня и о чьем творчестве прочитал мне целый цикл лекций, говорил, что он привязывался к людям, чьи лица ассоциировались у него с кустом цветущего боярышника. Лицо Ринальдо скорее напоминало белую каллу. Особой белизмой выделялся его нос, а раздувающиеся темные ноздри были похожи на гобой. Люди с приметам во внешности имеют надомной какую-то странную власть. Не знаю, с чего она начинается – с наблюдения или притяжения. Иногда чувствуешь себя глупым, тупым, нездоровым, но стоит только посмотреть на себя внимательным, сосредоточенным взглядом, и все проходит.

Мы сидели за круглым столом. Летали и ложились карты. Джордж подбивал народ на разговоры, и народ подчинялся: как-никак хозяин. Полицейский рассказывал об убийствах на улицах города. «Все переменялось. Могут запросто шлепнуть, если у тебя в кармане не найдется доллара, а могут, если дать им полсотни. Сукины вы дети, говорю я им, из-за денег убиваете? Только из-за денег? Они ведь ни хрена не смыслят. Я поубивал больше народу, чем вы, так ведь то в войну».

Литовец, торговавший смокингами, горевал по своей подруге – она работала на телефоне приемщицей объявлений в «Сан таймс». Говорил он с лающим акцентом, порой отпускал мрачные шуточки. По ходу рассказа он так расчувствовался, что едва не плакал. По понедельникам он ездит, собирает свой товар. После выходных смокинги все в пятнах виски, соуса, супа, спермы – чего только на них нет! Во вторник он отвозит смокинги в специализированную прачечную недалеко от Лупа, где их сваливают в баки с моющей жидкостью. Вторую половину дня проводит со своей подружкой.

– Бывает, так хотим друг друга, что не дойдем до постели. Прямо на полу... Хорошая баба, о семье заботится. Люблю таких. Она для меня что хошь сделает. Я говорю, ляг так или стань этак, она слушается, и нет вопроса.

– Вы с ней только по вторникам встречаетесь? – спросил я. – Ни разу не повели угостить и дома у нее не были?

– В пять часов она бежит домой, готовить обед... для своей старой матери. Ей-бо, я даже ее фамилию не знаю. Правда, телефон у меня имеется. Двадцать годков мы так.

– Значит, любите ее. Почему же не женились?

Он удивленно оглядел присутствующих, словно спрашивая: «Штой-то с ним, а?» Потом ответил:

– Што-о? Жениться на дешевке, которая по мотелям ошивается?

Все захохотали, а сицилиец-гробовщик принялся объяснять мне, что к чему. Он говорил таким тоном, каким простые жизненные факты излагают ученым недоумкам.

– Слышь, профессор, ты не путай. Эти две вещи разные. Жена должна быть не такая. Если у тебя кривая нога, ботинок тоже должен быть кривой. Ботинок по ноге – тогда порядок. А вот моя милка в могилке...

Я большой охотник до учения, всегда благодарен за советы и не сержусь, когда меня поправляют. Умею избежать столкновения, зато сразу угадываю настоящего друга.

Квартира в южной части Чикаго, кухня, куда вливается тяжелое дыхание сталелитейных и нефтеперегонных заводов, на столе виски и покерные чипы, дымят сигары... Но, как ни странно, я иногда вижу то, чему удалось сохраниться в природе, несмотря на смрад тяжелой промышленности. В пропахших бензином прудах водятся карп и зубатка, и негритянки удят рыбу, насаживая на крючки кусочки теста. Неподалеку от мусорных свалок попадают сурки и кролики. Красноперые дрозды с пестрой грудкой рыскают над зарослями рогозы, как театральные капельдинеры в униформе между рядами. Упрямо тянутся к солнцу кое-какие цветы.

Я разошелся, радуясь удачному вечеру в веселой компании. Спустил около шести сотен, если считать чек, выданный Кантебиле. Но я привык к тому, что у меня все кому не лень выуживают деньги, поэтому почти не огорчился. Я был в приподнятом настроении, много пил, много смеялся и говорил, говорил без умолку. Наверное, распространялся о своих проблемах и планах. Потом мне сказали, что я был единственный, кто не понимал, что происходит. Увидев, что братья Кантебиле мошенничают, другие игроки постепенно побросали карты. Те, сдавая, как бы случайно открывали карту, передегивали, перемигивались и гребли кон за коном.

– Нет уж, у меня их штучки не пройдут! – театрально выкрикнул Джордж.

– Ты поосторожнее с Ринальдо...

– Ринальдо – мелкая шпана! – ревел Джордж.

* * *

Может быть, он и впрямь «мелкая шпана», но во времена Капоне семья Кантебиле была шпаной нормальной. Тогда весь мир считал, что Чикаго залит кровью: там бойни и бандитские разборки. На иерархической лестнице преступного мира Кантебиле занимали ступеньку посередине. Работали на Банду, водили грузовики с запрещенным спиртным, избивали и убивали людей. Так, хулиганы и уголовники средней руки. Но в сороковых слабоумный дядька, служивший в чикагской полиции, опозорил семью. Он напился в баре в стельку, и двое молодых субчиков просто так, забавы ради, вытащили у него оба револьвера, повалили на пол, пинали ногами, заставили есть опилки. Он плакал от обиды и боли. Вдоволь натешившись, хулиганы пустились наутек, бросили револьверы. Это была крупная ошибка с их стороны. Собрав последние силы, коп погнался за ними и на улице застрелил обоих. С тех пор, сказал Джордж, никто не принимает Кантебилей всерьез. Разделавшись с двумя парнями, старый Ральф (Мучи) Кантебиле, отбывающий сейчас пожизненное заключение в Жольете, вконец уронил авторитет семьи в глазах Банды. Вот почему Ринальдо не мог стерпеть обиды, нанесенной ему каким-то фраером, который проиграл ему в покер, но аннулировал чек. Возможно, Ринальдо не занимал заметного положения в уголовной среде, однако мой «мерседес» он расколошматил. Не знаю, была ли его злость настоящей или наигранной. Очевидно, он принадлежит к гордым и ранимым натурам, а от них одни неприятности, потому что они придают значение всяким пустякам, на которые разумный человек просто плюет.

Не совсем потеряв чувство реальности, я подумал, не имел ли он в виду самого себя, когда говорил о ранимой натуре. Вернувшись из банка, я начал бриться и вдруг заметил, что мое лицо хотя и должно было бы улыбаться, выражая неоспоримую целесообразность мирового порядка и уверенность в том, что возникновение человечества на Земле – явление правильное и полезное, лицо, в котором отражаются все обещания капиталистической демократии, мое лицо помрачнело, обрюзгло, исказилось от горя – такое лицо неприятно брить. Выходит, я та самая вышеупомянутая ранимая натура? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним кое-что из моего и нашего прошлого.

Семья наша звалась Цитрины и происходила из Киева. На острове Эллис фамилию переименовали на англоязычный лад – Ситрины. Родился я в Аплтоне, штат Висконсин, там же, где родился Гарри Гудини, с которым у меня, полагаю, много общего. Рос я в польских кварталах Чикаго, ходил в школу имени Шопена. Свой восьмой год я провел в общем отделении туберкулезного санатория. Добрые люди жертвовали санаторию яркие смешные газеты. Возле каждой кровати набивались стопки таких газет. Дети читали про приключения Тоненького Тони и про то, как плутовал Боб – Крепкий Лоб. Я вдобавок целыми днями читал Библию. Близких пускали к нам раз в неделю. Мои родители приходили по очереди – мама в старенькой зеленой блузке из саржи, большеглазая, побледневшая от беспокойства за меня, и папа в своем пропахшем табачным дымом пальто, бедняга иммигрант, отчаянно старающийся свести концы с

концами. По ночам у некоторых детей шла кровь горлом, иные умирали. Утром надо было перестилать постель, класть чистое белье. Здесь, в санатории, я начал много думать, и мне кажется, что моя легочная болезнь перешла в душевную неустойчивость, так что временами я чувствовал и чувствую, будто отравлен благими намерениями и благородными побуждениями, от которых кружится голова и мурашки бегут по коже. Благодаря туберкулезу я стал ассоциировать дыхание с радостью, благодаря туберкулезу в палате – радость со светом, благодаря необузданному воображению – свет на стенах и потолке со светом внутри меня. Я был готов денно и нощно прославлять Господа Бога.

В заключение скажу вот что. Америка – это страна-наставник, ее народ считает, что его история полезна всему остальному миру, что ее опыт воодушевит мир и подвигнет на добрые дела, то есть Америка своего рода просветительное и рекламное предприятие. Порою я вижу в этом идеализм, порою – чистейшее безумство. Если все стремятся к Добру, откуда берется Зло? Не на это ли намекал Гумбольдт, называя меня провинциальным простаком, инженеру мужского пола? Вобрав в себя множество дурных качеств, бедняга представляет собой отрицательный пример, он умер, оставив в качестве наследия большой вопрос. Вопрос о смерти, каковой Уитмен считал вопросом вопросов.

Во всяком случае, мне было безразлично, как я выгляжу в зеркале. Я видел ангельские черты, переходящие в лицемерие, особенно в уголках рта. Посему смежил очи и брился на ощупь. И раскрыл глаза, только начав одеваться. Чтобы не раздражать Кантебиле, я надел скромный костюм и такой же скромный галстук.

Мне не пришлось долго ждать лифта. «Собачий час» в нашем доме уже прошел. В те час-полтора, когда соседи выгуливают своих четвероногих любимцев, попасть в лифт невозможно, приходится топать по лестнице.

Я вышел на улицу к своему искореженному автомобилю (одних эксплуатационных расходов больше полутора тысяч в год!). Стояли темные декабрьские предрождественские дни. Воздух был тяжелый, насыщенный выхлопными газами. Из-за озера, со стороны южного Чикаго, Хаммонда и Гэри, что уже в Индиане, тянулась коричневая полоса от сталелитейных и нефтеперегонных заводов. Я втиснулся в машину, завел мотор, включил радио. Станции, работающие на диапазонах FM, передавали праздничные концерты из произведений Корелли, Баха и Палестрины – странную музыку в исполнении Коэна (виола да гамба) и Леви (клавесин) под управлением покойного Гринберга. Я слушал божественно прекрасные кантаты, исполняемые на старинных инструментах, и думал, с чего начать. В кармане, вместе с носовым платком и бифокальными очками, лежал конверт с новенькими полусотенными бумажками. Я никогда не решаю заранее, что делать, жду, когда решения придут сами. На Внешнем шоссе меня посетила мысль заглянуть в Центральный оздоровительный клуб. Я был в одном из тех чикагских настроений, когда... – впрочем, как описано это явление? В чикагском настроении мне чего-то не хватает, сердце полнится неясными желаниями, сознающая половинка души жаждет выразить себя. Налицо все признаки легкого отравления кофеином. Вместе с тем у меня такое ощущение, будто я инструмент каких-то внешних сил. Они используют меня как пример ошибки природы или как предвестие желанного порядка вещей. Я ехал по берегу громадного серого озера. На востоке простиралось свинцовое сибирское небо, и под ним – площадь Маккормика, похожая на пришвартованный авианосец. Трава была безжизненная, какого-то блекло-желтого цвета. Обгонявшие меня мотоциклисты поворачивали назад, чтобы еще раз взглянуть на чудо изуродованной техники.

Я ехал в Центральный оздоровительный, чтобы поговорить с Вито Лангобарди, узнать, что он думает о Ринальдо Кантебиле – если вообще о нем думает. Вито был непререкаемый авторитет, гангстер и денежный воротила, приятель покойных Мюррея Верблюда и Батталли. Мы частенько играли с ним в малый теннис. Мне нравится Лангобарди, очень нравится, и, думаю, он тоже привязан ко мне. Вито был самой значительной фигурой в уголовном мире,

занимал в Организации такое высокое положение, что один из немногих удостоился чести считаться джентльменом. Мы обсуждали с ним костюмы и обувь. Среди клиентов клуба только мы шили рубашки на заказ, рубашки с петлей для галстука под воротничком. Эти петли в каком-то смысле роднили нас. Мы были как брат и сестра в одном племени дикарей, о котором я когда-то читал. В силу строжайшего запрета на кровосмесительные связи их разлучили детьми почти на всю жизнь – они начали снова общаться лишь на пороге старости... Впрочем, нет, сравнение явно хромает. Зато в школе я знал многих ребят, настоящих сорвиголов, у которых взрослая жизнь потекла по иному руслу, нежели моя, и теперь мы с ними могли поговорить об ужении рыбы во Флориде, о рубашках с петлями для галстука, о проблемах доберман-пинчера у Лангобарди. Серьезные и трудные разговоры он поручал брокерам и адвокатам. Покидав мяч, мы шли в раздевалку, этот образцово-демократический уголок, поскольку все там голые, пили сок и болтали о фильмах, помечаемых знаком «х». «Никогда не хочу их смотреть, – говорил он. – Что, если в киношку нагрянет полиция и меня заберут? Как это будет выглядеть в газетах?» Для высокого положения в обществе всего-то и нужно два-три миллиона. Многомиллионные сбережения обеспечили Вито такое положение. На корте он бегал нетвердо, у него были слабые икры – этот физический недостаток часто встречается у нервных детей. Но играл Вито хорошо. Всегда у меня выигрывал, поскольку отлично знал, что я делаю у него за спиной. Да, я был привязан к Вито Лангобарди.

Рэкетболу я научился у Джорджа Суибла. Игра эта быстрая и небезопасная. На корте то и дело сталкиваешься с другими игроками, а то и в стенку врежешься. Тебя могут стукнуть ракеткой, когда отбивают задний мяч; бывает, и сам смажешь себе по лицу. Я вышиб себе передний зуб собственной ракеткой, пришлось ставить коронку. Сначала ребенок-рахитик, потом мальчишка с больными легкими, впоследствии я выправился, набрал силы, затем снова начал слабеть, и Джордж заставил меня укреплять мускулатуру. Иногда по утрам у меня кружится голова; выбираясь из постели, едва-едва разгибаю спину и выделяю антраша не хуже русского танцора или падаю плашмя на землю, доставая мертвый мяч. Но все равно хороший игрок из меня никогда не получится. Сердце у меня нетренированное, быстро выдыхаюсь, особенно когда охватывает состязательная лихорадка. Отбивая мяч, я постоянно твержу себе: «Танцуй! Танцуй!» У меня сложилось убеждение, что все искусство рэкетбола заключается в правильных па. Но бизнесмены и гангстеры, научившись быстро переключаться с профессиональных «игр» на общедоступные, всякий раз перетанцовывали и побивали меня. Я старался убедить себя, что, достигнув умственной и психической устойчивости, переключу эту устойчивость на ракетку и мяч, и тогда никто – слышите, никто! – не возьмет надо мною верх. Кого хочешь обыграю. Пока же неустойчивое душевное состояние мешает мне побеждать. Но я все равно выкладываюсь на корте, так как без серьезных физических усилий впадаю в отчаяние. В полнейшее отчаяние. Бывает, кто-нибудь из игроков среднего возраста вдруг ни с того ни с сего валится наземь, его быстренько везут в больницу, и он оттуда больше не возвращается. Однажды мы с Лангобарди играли в «Насмерть» – в ней участвуют три игрока. Третьим был один мужик, звали его Хильденфиш. Играли мы, значит, чин чинарем, и вдруг видим, что Хильденфиш задыхается. Проводили его в сауну отдохнуть. Потом оттуда выбегает кто-то и кричит: «У Хильденфиша обморок!» Черные ребята из obsługi осторожно кладут его на пол. Из рта у него хлынула вода. Я знал, что это значит. Принесли аппарат искусственного дыхания, но никто не знал, как им пользоваться.

Иногда я чересчур выкладываюсь, и Скотти, наш инструктор, предупреждает: «Эй, эй, ты не очень, Чарли! Погляди на себя, посинел весь». Смотрю на себя в зеркало – на мне лица нет. Вернее, есть, но потное, почерневшее, обвисшее, жуткое, сердце бьется как птица в клетке, и слух почти пропадает. Ага, это евстахиевы трубы шалят, ставлю я себе диагноз, кровяное давление. «Ты походи, походи, только поспокойнее», – советует Скотти. И хожу взад-вперед по коврику, и думаю о бедном Хильденфише, слабаке Хильденфише. Однако перед лицом смерти

я ничуть не лучше и не здоровее его. Однажды напрыгался я на корте и прилег отдышаться на красный пластиковый диванчик. Подходит Лангобарди, смотрит на меня, как-то странно смотрит, задумался. А когда он задумывается, начинает косить. Один глаз словно перескакивает за другой, как рука у пианиста, когда он играет через руку. «Чего ты пыжишься, Чарли? В нашем возрасте одной партии предостаточно. Ты когда-нибудь видел, чтобы я играл вторую? А то загнешься, как Хильденфиш». Все верно, могу загнуться. Хватит играть со смертью в кости. Хватит дразнить смерть. Меня тронула забота со стороны Лангобарди. Но он беспокоился лично обо мне или?.. Смертный случай в оздоровительном учреждении – штука пренеприятная. А две смерти подряд принесли бы заведению нехорошую репутацию. И тем не менее Лангобарди желал добра именно мне. В наших беседах мы почти не касались ничего существенного. Я порой наблюдал за ним, когда он разговаривал по телефону. Вито походил на образцового американского менеджера: красивый, мужественный, одетый – куда тебе председатель правления. Даже подкладка на рукавах пиджака была выполнена каким-то особым образом, а спинка жилета сделана из кашемира. Звонившие ему почему-то называли имя Финга, чистильщика обуви. «...Джонни Финг, Джонни Финг, вас к телефону, добавочный пятый...» Приятным низким баритоном он отдавал распоряжения, сообщал свои решения, назначал, вероятно, наказания. Разве мог Вито сказать мне что-нибудь серьезное? Но мог ли и я со своей стороны поведать ему, что у меня на уме? Сказать, что сегодня утром я читал гегелевскую «Феноменологию духа», те страницы, где он рассуждает о свободе и смерти? Сказать, что размышляю над историей человеческого сознания с особым упором на проблему скуки? Что эта тема занимает меня много лет и что я обсуждал ее с умершим поэтом фон Гумбольдтом Флейшером? Да ни в жизнь. Никогда. О таких вещах не говорят даже с астрофизиками, с профессорами палеонтологии или светилами экономики. В Чикаго много хорошего и интересного, но культура к этому многому не относится. Чикаго был город бескультурья, но весь, до последнего кирпичика, состоял из творений Разума. Однако Разум без Культуры – это же своего рода игра, разве нет? Я давно привык к этой игре.

Глаза у Лангобарди были что перископ: он видел, что происходит за углом.

– Живей, живей, Чарли. Делай как я, – говорил он.

– Я стараюсь, – отвечал я, искренно благодарный за его интерес ко мне.

Сегодня я поставил машину у заднего входа в клуб и на лифте поднялся в парикмахерскую. Там обычная деловая картина: три мастера – долговязый швед с крашеной шевелюрой, вечно небритый сицилиец и низкорослый японец – фенами с синей насадкой укладывали волосы трем клиентам. У всех трех мастеров были одинаковые пышные прически, и одеты они были в желтые жилеты с золотыми пуговицами поверх рубашек с короткими рукавами.

Из парикмахерской я проследовал в раздевалку. Голые лампочки над умывальниками резали глаза. Финг, настоящий Джонни Финг, засыпал писсуары кубиками льда. Лангобарди, ранняя птичка, был уже здесь. Последнее время он начал носить небольшую челку, как у сельских священников в доброй старой Англии. Он сидел голый, перелистывал «Уолл-стрит журнал». Увидев меня, улыбнулся. Ну и что дальше? Устанавливать с ним более тесные отношения? Подвинуть вперед стул и, уперев локти в колени, посмотреть ему в лицо доверчивыми глазами и сказать: «Вито, мне нужна твоя помощь»? – или: «Скажи, он опасен, этот Ринальдо Кантебиле?» Сердце у меня бешено колотилось, так же бешено, как много десятилетий назад, когда я собирался сделать предложение женщине. Несколько раз Лангобарди оказывал мне небольшие услуги, например заказывал столик в том ресторане, где это практически невозможно сделать. Но спросить о Кантебиле – значит попросить совета у профессионала. В клубе это не принято. Помню, как Вито дал взбучку Альфонсу, одному из наших массажистов, за то, что тот задал мне литературный вопрос. «Не приставай к человеку, Эл, – сказал он. – Чарли не затем сюда приходит, чтобы говорить о книжках. Мы приходим сюда, чтобы отвлечься от наших дел». Когда я передал это Ренате, она сказала: «У вас уже и отношения завязались».

Теперь я видел, что между мной и Лангобарди такие же отношения, как между Эмпайр-стейт-билдинг и чердаком.

– Сгоняем партию? – спросил Вито.

– Нет, Вито, спасибо. Заехал забрать кое-какие вещички из шкафчика.

«Вечно вокруг да около, – горестно думал я, идя к поломанному «мерседесу». – Как это похоже на меня. Я хочу, чтобы мне помогли. Я ищу помощи. Мне нужен тот, кто пойдет со мной на Голгофу. Как это делал папа. Но где он сейчас, мой папа? В могиле».

* * *

В мерседесовском салоне техник, облаченный в белый халат, естественно, поинтересовался, как это произошло. «Я не знаю, как это произошло, Фриц. Сам нашел в таком виде. Сделайте что нужно. Счет я видеть не желаю. Пошлите его в «Иллинойс континенталь». Там оплатят».

Фриц брал за работу не меньше, чем специалист по операциям на мозге.

На улице я поймал такси. У шофера была высоченная прическа «афро», напоминавшая куст в садах Версаля. Он походил на дикаря. В машине стоял кислый спиртной запах. Сиденье было засыпано пеплом. От водителя меня отделяла пуленепробиваемая плексигласовая перегородка с дырками для слышимости. Таксист сделал левый поворот и помчался в восточном направлении, на Дивижн-стрит. Из-за помутневшего плексигласа и пышной «афро» мне было мало что видно. Но мне не нужно было смотреть. Я мог бы дойти до Русских бань с завязанными глазами. Опустевшие кварталы, заброшенные дома. Кое-где расчищают площадки под новое строительство, но чаще попадаются одни развалины. Скелеты домов и пустота чередуются, как кадры в кино. Дивижн-стрит когда-то была заселена поляками, теперь там живут одни пуэрториканцы. Поляки красили свои кирпичные домики в красный, фиолетовый, зеленый цвета. Лужайки с чахлой травой были обнесены оградами из тонких труб. Мне почему-то казалось, что так выглядят польские поселения на балтийских берегах, та же Гдыня, с той только разницей, что необозримая иллинойская равнина делилась здесь на улочки и переулки, по которым бегут перекасти-поле. Смотришь на это растение, и становится грустно. Во времена фургонов с углем и льдом здешние обитатели резали пополам дырявые баки для воды, ставили на лужайках и сажали в них цветы. Весной рослые полячки в шапочках, украшенных лентами, выходили с банками и красили эти железные цветочные горшки в ярко-серебристый цвет, и они сверкали на красном фоне кирпичных стен. Двойные ряды заклепок на баках напоминали раскраску на теле африканских дикарей. Женщины выращивали герань, турецкую гвоздику и прочие неприхотливые незаметные цветы.

Много лет назад я показывал эти места Гумбольдту Флейшеру, который приехал в Чикаго почитать стихи перед сотрудниками и подписчиками журнала «Поэзия». Мы крепко дружили в ту пору, и он попросил меня провезти его по городу. Я сам только что вернулся в Чикаго повидать отца и уточнить в библиотеке Ньюберри кое-какие детали для моей новой книги «Деятели Нового курса». Прежде всего мы поехали на надземке в район боен. Потом я поводил его по Лупу. Побывали мы и на берегу озера, послушали, как стонут туманные горны. Звуки печально разносились над свежей густой водной гладью. Но больше всего Гумбольдта тронули старые кварталы. С побледневшим лицом прислушивался он к чириканию роликовых коньков по асфальту. Цветущая герань в старых серебристых баках доконала его. Я тоже равнодушен к городским «красотам». Тоже верю, что душа способна преобразить в поэзию, в искусство все обыденное, несостоящее, некрасивое, низкое.

Моя восьмилетняя дочка Мэри знает об этом. Знает и мой интерес к развитию человеческой личности как таковой и как истины общественной среды. Она часто просит рассказать, как жили в те незапамятные времена.

– Вместо батарей были печи, мы топили их углем. Плита на кухне была большая, черная, с никелированными краями. В гостиной на печку устанавливали купол, как у церкви, понимаешь? Сквозь слюдяное окошечко можно было посмотреть, как пляшут языки пламени. Мне приходилось приносить в ведре уголь, а потом выгребать золу.

– А как ты одевался?

– Я носил кожаную шапку с ушами из кроличьего меха, вроде шлема у военных летчиков, высокие сапоги, у них в голенище был кармашек для ножа, длинные черные чулки и бриджи. Белье в ту пору носили шерстяное. Катышки от него попадали в пупок и другие места.

– А что еще было интересного? – допытывалась малышка.

Десятилетнюю Лиш, мамину дочку, новости из прошлого не интересовали. Мэри не такая хорошенькая, как Лиш, но, на мой взгляд, более привлекательная – в отца. Мэри скрытная и жадная. Она врет и ворует больше, чем любая маленькая девчонка, и это очень трогательно. Куда она только не спрячет утаченную жвачку или шоколадку. Я находил конфеты под обивкой дивана и в моих каталожных ящиках. Мэри поняла, что я не часто заглядываю в справочные материалы. Научилась беззастенчиво подлизываться и добивается от меня чего угодно. И вечно хочет слышать о старых временах. Пробуждая у меня воспоминания, она вертит мной как хочет. Правда, папка и сам радрадехонек поделиться прежними переживаниями. Больше того, я должен передать Мэри эти чувства, поскольку имею планы относительно нас. Нет, не определенные планы, а некие мечты. Может, мне удастся сделать так, что ребенок проникнется моим духом и продолжит работу, для которой я старею, слабею или глупею. Продолжит одна или с мужем и моей удачливостью. Я позабочусь об этом. В запертом ящике письменного стола я держу кое-какие записи и советы для Мэри. Большая часть их написана под действием спиртного. Я обещаю себе выкроить день и отрецензировать эти бумаги до того, как смерть стащит меня с корта или с постели какой-нибудь Ренаты. Мэри будет интеллигентной и умной женщиной, это факт. Она гораздо лучше, чем Лиш, исполняет «Für Elise». Она чувствует музыку. Однако иногда у меня сердце сжимается от беспокойства за Мэри. Она будет высокой, худощавой, чувствующей музыку особой с прямым носом, тогда как я предпочитаю пухленьких, с красивой грудью. Поэтому мне уже сейчас жаль ее. Что касается предприятия или проекта, который могла бы продолжить Мэри, то это сугубо личный взгляд на Интеллектуальную Комедию современного разума. Никто не способен охватить ее целиком. Полновесные тома балзаковской комедии усохли до рассказов Чехова в его русской «Comedie humaine». Но охватить ее стало еще труднее, если вообще возможно. При этом я никогда не имел в виду беллетристику, художественную прозу, но нечто иное, отличное даже от «Приключений идей» Уайтхеда... Сейчас не время вдаваться в объяснения. Что бы то ни было, я задумал это совсем молодым. Замысел посеял во мне Валери, книгу которого дал мне почитать Гумбольдт. Валери писал о Леонардо: «Cet Appolon me ravissait au plus haut degre de moi-même»⁶. Я тоже был постоянно увлечен – увлечен, быть может, сверх моих умственных способностей. Валери добавил на полях: «Trouve avant de chercher»⁷. Находить до того, как пустишься на поиски, – мой особый дар, особый талант, если у меня вообще есть таланты.

Интуитивно найдя верный тон, моя меньшая спрашивает:

– Расскажи, что делала твоя мама. Она была красивая?

– Очень красивая! Я не похож на нее. Что она делала? Все делала. Готовила, пекла пирожки, стирала, гладила, солила, мариновала, варила варенье. Умела гадать на картах и пела протяжные русские песни. Они с папой по очереди навещали меня в санатории. Приносили мне ванильное мороженое. В феврале оно было твердое как камень – даже ножом не разре-

⁶ «Этот Аполлон очаровал меня до крайности» (фр.).

⁷ Найди до того, как пустишься на поиски (фр.).

жешь. Что еще?.. Ах да! Знаешь, когда у меня выпадал зуб, она бросала его за печку и просила мышку-норушку принести другой, здоровый. Видишь, каких зубов понанесли эти поганки.

– А ты любил маму?

Меня вдруг охватило огромное, всепоглощающее чувство. Забыв, что разговариваю с ребенком, я сказал:

– Я всех любил, безумно любил. Меня переполняла любовь. Она, как заноза, засела внутри меня, в самом сердце. В санатории я иногда по утрам плакал. Боялся, что вдруг больше не вернусь домой, не увижу маму с папой. Но они не знали, как я люблю их. У меня был жар от болезни и жар любовный. Такой я был чувствительный. В школе влюблялся во всех девчонок. Или вот проснусь утром и плачу, что рядом нет мамы с папой, что они еще спят. Я хотел, чтобы они поскорее проснулись и чтоб снова начались чудеса. И Менаша я любил, нашего жильца, и Джулиуса, моего брата, твоего дядю.

Впрочем, отложу эти ахи и охи. Сейчас голова у меня забита другим: деньги, чеки, хулиганье, автомобили.

Я думал не только о чеке, выданном Кантебиле, а о том, который прислал мне мой друг Текстер, тот самый Текстер, кого Хаггинс обвинил в сотрудничестве с ЦРУ. Дело в том, что мы с Текстером готовились издавать журнал «Ковчег». У нас все было на мази. Мы планировали печатать замечательные вещи – например мои размышления о мире, который преобразается разумом. И вот на тебе: Текстер не может вернуть вовремя какой-то кредит.

История эта длинная, запутанная, и я сейчас не буду в нее вдаваться. Не буду вдаваться по двум причинам. Во-первых, я люблю Текстера, люблю, несмотря на все его закидоны. Во-вторых, я в самом деле слишком много думаю о деньгах. Скрывать это нет смысла. Мне действительно присуще это низкое, гадкое свойство. Помните, я рассказывал, как Джордж спас Шерон, когда ее полоснули бритвой по горлу? Я тогда назвал кровь живительной жидкостью. Так вот, деньги – это тоже живительная жидкость. Текстер должен был вернуть часть ссуды, но сидел на мели. И тем не менее он широким жестом распорядился, чтобы миланский «Банко Амброзиано» выставил мне счет. Почему вдруг «Банко»? Почему Милан? Но деловые операции Текстера всегда выходили из обычных рамок. Он получил космополитическое воспитание и везде чувствовал себя как дома – будь то во Франции или Калифорнии. Трудно назвать страну, где у Текстера не было бы богатого дядюшки, доли в угольной или иной шахте или старинного шато. Экзотические выходки Текстера – еще одна моя головная боль. Но противиться ему я не научился. Ладно, Текстер может подождать. Напоследок только скажу: он очень хотел, чтобы его считали бывшим агентом ЦРУ. Это придавало весомость его репутации, придавало ему таинственность, а таинственность была его коньком. Это никому не причиняло вреда, казалось даже добродетелью, как личный шарм всегда считается добродетелью – до известной степени. Личный шарм тоже из числа коньков.

Такси подкатило к Баням на двадцать минут раньше назначенного срока. Мне не хотелось болтаться на улице, и я сказал шоферу, приблизив лицо к дырочкам в перегородке: «Возьмите влево и, пожалуйста, не спешите. Я хочу кое-что посмотреть». Он качнул своим «афро», этим огромным черным одуванчиком.

За последние полгода в этих кварталах снесли многие заметные дома. Казалось бы, что тут удивительного. Не знаю почему, но это на меня подействовало. Мне казалось, будто я птицей залетел в мангровую рощу своей юности; теперь она – кладбище автомобилей. Я смотрел в грязные окна таксомотора, и в висках стучала кровь. Исчез целый квартал. Снесли «Венгерский ресторан» Лови, снесены бильярдная Бена, обнесенный кирпичной оградой автобусный парк и похоронное бюро Грэтча, откуда отправились в последний путь оба моих родителя. История не сделала здесь живописной остановки. Дробили, сгребали, грузили в самосвалы, вывозили на свалку руины времени. Вырастали новые стальные опоры. В витринах мясных

лавок больше не висели круги краковской колбасы. В *carnicería* продавали карибские сосиски. Не видно старых вывесок. На новых написано по-испански «*hoy*⁸», «*mudanzas*⁹», «*iglesia*¹⁰».

«Держитесь правее, – сказал я таксисту. – Вдоль парка, потом поверните на Кедзи».

Старый бульвар превратился в сплошные завалы, ожидающие расчистки. Сквозь провалы в ограде я видел квартирки, где я спал, ел, делал уроки, целовал девчонок. Только последний негодяй способен оставаться равнодушным при виде этих развалин, тем более радоваться разгрому милых сердцу мест, вызывающих мелкобуржуазные сантименты. Радоваться тому, что история превратила их в груды мусора. Я знаю таких негодяев. Они родом из этих самых кварталов. Они доносят метафизическо-исторической полиции на таких, как я, на тех, у кого болит сердце, когда они видят, как разрушают прошлое. Но затем я и приехал сюда, чтобы поплакаться, погрустить о проломанных стенах, разбитых окнах, снятых с петель дверях, выдернутых водопроводных кранах, порванных и пущенных на продажу телефонных проводах. Кроме того, мне хотелось посмотреть, стоит ли дом, в котором жила Наоми Лутц. Дома не было. Я загрустил еще сильнее.

В дни моей пылкой юности я любил Наоми Лутц. Она была самой красивой девушкой на свете. Она не имела недостатков. Я обожал ее. Любовь выявила скрытые до времени особенности моего характера. Отец Наоми был уважаемым педикюрщиком, но держался как медик, как настоящий доктор. Мать у нее была милая безалаберная женщина с маленьким подбородком, но большущими глазами. Вечерами мне приходилось играть с доктором Лутцем в рами, а по воскресеньям помогать ему мыть и начищать до блеска его «оберн». Но меня это устраивало. Я благополучно пребывал *внутри жизни*. Одни события сменялись другими, и все они выстраивались в осмысленную череду дней и недель. Сама смерть представлялась приемлемой заключительной частью общего плана бытия. У меня был собственный Озерный край, свои сады, где я бродил с Вордсвортом, Суинберном и «Простой душой» Флоте в изданиях «Современной библиотеки». Даже зимой мы с Наоми прятались за розарием и обнимались. Холод, замерзшие ветки кустов, а мне тепло: я прижался к любимой под ее енотовой шубкой. Запах енотовой кожи смешивался с ароматом девичьего тела. Мы вдыхали морозный воздух и целовались, целовались. До встречи с Демми Вонгель я никого не любил так, как Наоми. Но пока я в Мэдисоне зачитывался поэзией и практиковался в «пирамиде» в одном полуподвальном заведении, Наоми вышла замуж за ростовщика, который вдобавок занимался ремонтом конторской техники и имел кучу денег. Слишком молодой, я не смог бы оплачивать счета за покупки, которые она будет делать в магазинах «Филд» и «Сакс». Кроме того, ее, наверное, пугало бремя умствований и ответственность, которая ложится на супругу интеллектуала. Я не переставая говорил о книгах из «Современной библиотеки», о поэзии и истории, и Наоми боялась разочаровать меня в этом отношении. Она сама мне это сказала. Я возразил: если слеза – явление интеллектуальное, то чистая любовь – вдвойне. Она не требует пояснений. Наоми была огорашена. Из-за таких разговоров я и потерял ее. Она не показалась даже тогда, когда ее муженек, завзятый игрок и отчаянный спорщик, бросил ее и был вынужден прятаться, потому что нашлись люди, которые хотели пустить ему кровь. Они-то, наверное, и поломали ему ноги. Так или иначе, он сменил имя и поехал, вернее – похромал, на юго-запад. Наоми продала свой особняк в Уиннетки, переехала в Маркетт-парк, где у ее родителей был домик, и устроилась на работу в бельевой отдел магазина «Филд».

Машина повернула назад, на Дивижн-стрит. Само собой напрашивалось сравнение между неприятностями мужа Наоми с мафией и моими. Он тоже где-то дал маху. Мне, естественно, подумалось также, какая замечательная жизнь была бы у меня с Наоми Лутц. Пятна-

⁸ «Сегодня» (исп.).

⁹ «Переезды» (исп.).

¹⁰ «Церковь» (исп.).

дцать тысяч ночей в ее объятиях – после них одиночество и тоска могилы пустяк. Мне не нужно было бы ни списка моих сочинений, ни отложенных рукописей, ни ордена Почетного легиона.

Мы ехали назад по старым кварталам, превратившимся в трущобы какого-то тропического города, возможно, одного из тех многочисленных Сан-Хуанов, что стоят на берегу лагуны, которая бурлит, как варево из требухи, и так же воняет. Та же осыпающаяся штука-турка, те же разбитые стекла и кучи мусора на улице, те же корявые надписи на лавочках, сделанные синим мелом.

Зато старые Русские бани, где я должен был встретиться с Ринальдо Кантебиле, стояли почти нетронутые. Помимо бань здесь была пролетарская гостиница, меблированные комнаты для простого люда. На втором этаже всегда жили состарившиеся работяги, пенсионеры-железнодорожники, одинокие украинские деды, бывший кулинар, славившийся глазированным печевом и бросивший кухню из-за воспаления суставов на руках. Я знал это здание с детства. Мой отец, как и старый мистер Суибл, считал, что это разгоняет кровь и вообще полезно для здоровья – когда тебя похлещут дубовым веником, вымоченным в кадушке с рас-соллом. Такие отсталые люди существуют по сей день. Едва передвигая ноги, они отчаянно сопротивляются современности, тем более всяким новомодным штучкам.

Наш жилец Менаш, физик-любитель (правда, больше всего он хотел быть драматическим тенором, даже брал уроки пения, благо работал он прессовщиком в Брансуикской граммофонной компании), однажды сказал мне, что люди способны повлиять на вращение Земли. Как? Очень просто. Надо, чтобы все человечество одновременно сделало несколько шагов в определенном направлении. Тогда вращение Земли замедлится, а это, в свою очередь, окажет воздействие на Луну, скажется на приливах и отливах. Конечно же, коньком Менаша была не физика, а проблема согласия, единства. Я-то лично думал, что многие – кто по глупости, кто из-за упрямства – зашагали в противоположном направлении. Но старичье в Банях как будто действительно объединилось в попытке приостановить ход истории.

Любители попариться здесь совсем не похожи на ухоженных высокомерных господ, каких полно в центре города. Даже восьмидесятилетний Фельдштейн, старательно выполняющий свой комплекс упражнений в Центральном оздоровительном клубе, был бы чужаком на Дивижн-стрит. Лет сорок назад он был известный гулена, игрок, прожигатель жизни. Несмотря на возраст, Фельдштейн – человек сегодняшнего дня, тогда как завсегдатаи Русских бань отлиты в дедовских изложницах, их обвислые грудные железы и ягодицы пожелтели, как пахта. Их ноги-тумбы покрыты голубоватыми или зеленоватыми пятнышками. После парилки старики поедали селедку с ломтями хлеба, продолговатые круги салями, говяжью пашину, истекающую жиром, запивая яства шнапсом. Казалось, своими тугими животами они способны прошибить стену. Порядок вещей тут самый первобытный. Эти люди сознавали, что вид, к которому они принадлежат, обречен на вымирание, что они забыты природой и культурой. Тряся жировыми складками, с трудом перебирая покрытыми лишаем ногами, эти пещерные славяне кряхтя забирались на полки и парились до бесчувствия, а потом обливались холодной водой из ведра. Наверху, в предбаннике, умничали на телеэкране пижоны и улыбчивые девицы. На них никто не обращал внимания. Выхлопотавший себе лицензию Мики жарит здесь увесистые куски мяса и картофельные оладьи; ловко орудуя длинным ножом, рубит капустные кочаны для шинкования, режет на четыре части грейпфруты – их едят руками. У стариков, завернувшись в простыни, после парной зверский аппетит. А внизу банщик Франуш поддает пару, выплескивая воду на горячие булыжники. На булыжниках вспыхивает блеск, кипит вода. Собранные в груды, они смахивают на ядра для катапульта у древних римлян. Франуш работает совершенно голый, только на голове фетровая шляпа с оторванными полями – чтобы не сварились мозги. Вооружившись длинной палкой, он, как гусеница, подползает на четвереньках к печи, чтобы закрыть дверцу топки. Мошонка у него при этом болтается и зияет задний про-

ход. Потом он таким же манером ползет назад и хватается за ведро с холодной водой. Даже в закарпатских деревнях сейчас вряд ли так делают.

Старый Мирон Суибл был верен Русским баням всю жизнь и являлся сюда каждый божий день. Он приносил сюда собственную селедку, намазанные маслом куски ржаного хлеба из непросеянной муки, несколько луковиц и бутылку бурбона. Ездил он на «плимуте», хотя прав не имел. Он прилично видел прямо перед собой, но боковое зрение из-за катаракты на обоих глазах никуда не годилось. Потому при езде он задевал другие машины, а въезжая на стоянку, вечно стучался о соседей.

Я пошел на разведку. Беспокоился за Джорджа. По его совету я попал в эту переделку. Правда, я знал, что это плохой совет. Зачем же я ему последовал? Не потому ли, что он говорил громко, авторитетно? Не потому ли, что он выдавал себя за знатока чикагского дна, а я развесил уши? Нет, я просто не подумал. Но сейчас я был настороже и знал, что договорюсь с Кантебиле. Он излил ярость на автомобиле, значит, должок уже частично оплачен.

Мики за прилавком переворачивал на сковороде жирные отбивные и поджаривал лук.

– Джордж не заходил? – спросил я. – Может, старик ждет его?

Я подумал, что, если Джордж здесь, Кантебиле вряд ли ворвется сюда одетый, чтобы расправиться с ним. С другой стороны, Кантебиле – неизвестная величина. Никогда не догадаешься, что он сделает через минуту – будь то в приступе гнева или сознательно, по расчету.

– Джорджа тут нет, а старик парится.

– Понятно. А Джордж придет?

– Не-а. Он тут в воскресенье был. Они только раз в неделю вместе моются.

– Превосходно!

Мики сложен как вышибала, у него огромные руки и стальные мускулы, но кривая губа. Во времена Великой депрессии ему приходилось спать на улице, в городских парках, и от холодной земли щеку ему частично свел паралич. Глядишь на него, и кажется, будто он ехидно скалит зубы. Впечатление обманчивое. Мики серьезный, мирный, мягкий человек; большой любитель музыки, на каждый сезон покупает абонемент в «Лирическую оперу».

– Не-а, Чарли, я давно Джорджа не видел. – Он поправил подвязанный под самые подмышки фартук. – Поди попарься со стариком. Он будет рад компании.

Но я уже зашагал к выходу, мимо клетки кассира со множеством металлических ящичков, где посетители оставляют ценные вещи, мимо покосившихся столбов со спиральными полосами красного, белого и синего цветов – давнего обозначения цирюльни. Когда я ступил на тротуар, так же густо усеянный осколками стекла, как Галактика звездами, к пуэрториканской колбасной через дорогу подкатил белый «буревестник», и из него вылез, нет, выпрыгнул, Рональд Кантебиле. Высокий, красивый, он был в бежевом пальто реглан, в шляпе, тоже бежевой, и в модных ботинках с лайковым верхом. Я еще за покером обратил внимание на его темные мягкие, как шерстка у зверюшки, усики. Но за броской внешностью угадывались взвинченность, внутреннее кипение, нервная решимость. Даже на отдалении я видел, что лицо его бледно от ярости. Ноги в шикарных ботинках выделяли странные движения, Кантебиле словно пританцовывал от нетерпения. Нас разделял поток легковушек и грузовиков, и он не мог пересечь улицу. Короткий просвет между машинами, и Кантебиле распахивает свой реглан. Под ним роскошный широкий пояс. Но не пояс он показывает мне. У пряжки торчит металлический предмет. Он похлопал по нему рукой. Дает мне знать, что у него – револьвер. Между нами снова проносятся автомобили. Я вижу, как мечутся из стороны в сторону его ноги, вижу поверх кабин, что он не спускает с меня глаз. Как только проехал грузовик, Кантебиле надрывисто закричал:

– Ты один?

– Один, один!

Он нервно передернул плечами.

– Может, кто у тебя прячется?

– Никого со мной нет! Я один!

Он распахивает дверцу своей машины и достает с пола две бейсбольные биты. С битами в руках он устремляется ко мне. Нас разъединяет фургон. Мне видны только его пляшущие ноги. «Он же видит, что я пришел, – мелькает мысль. – Значит, принес деньги. Какой ему смысл меня бить? Видит, что я не способен что-либо подстроить. А сам он уже показал, на что способен. Искорежил мой «мерседес». Показал мне револьвер. Может, задать стрелкача?» В тот День благодарения я обнаружил, как быстро могу бегать. С тех пор мне хотелось бежать и бежать. Скорость – в числе моих ресурсов. Некоторые быстро бегут себе на беду, как «легкий на ноги» Аса в книге Самуила. И все-таки, может быть, попытаться? Рвануть вверх по лестнице в Бани и спрятаться у кассира, там, где стальные ящики для хранения ценных вещей. Присесть там на пол, попросив кассира через решетку передать Кантебиле десять долларов. Я хорошо знаю кассира, но все равно он не пустит меня в свою клетку. Не имеет права пускать. Неужели Кантебиле посмеет напасть на меня? На людной улице, средь бела дня? Я же сдался... Вдруг мне вспомнилось, что писал Конрад Лоренц о волчьих повадках. Победенный в схватке волк подставляет победителю горло, тот хватается горло соперника зубами, но не прокусывает. Да, но что говорит Лоренц потом? Проклятая память! У людей иначе, но как? Не могу вспомнить. Я чувствую, как у меня распадаются мозговые клетки. Вчера в туалете я старался вспомнить, чем останавливают распространение заразной болезни. Мучился, но так и не вспомнил. Кому бы позвонить и спросить? С ума можно сойти! Я встал и стоял, вцепившись в умывальник, пока не пришло спасительное слово – карантин. Да, карантин, но что со мной происходит? Не знаю, но переживаю тяжело. В старости отцу тоже изменяла память. Я был потрясен. Так и не вспомнил, в чем состоит разница между человеком и волком. В подобной ситуации это, пожалуй, простительно. Однако же свидетельствует о том, как небрежно последнее время я читаю. Невнимательность и забывчивость к добру не приведут.

Прошла очередная вереница автомобилей. Кантебиле шагнул вперед, собираясь кинуться на меня. Я заорал, подняв обе руки вверх:

– Побойся Бога, Кантебиле!

Он остановился, кинул одну битку в «буревестник», а с другой пошел ко мне.

– Деньги я принес! – выкрикнул я. – Побереги мою голову!

– У тебя пушка есть?

– Ничего у меня нет, ничего.

– Топай сюда, – сказал он.

Я начал послушно пересекать улицу.

– Стой там! – крикнул Кантебиле, когда я дошел до разделительной линии и оказался зажат между двумя транспортными потоками. Водители отчаянно сигналили, опускали окна и кляли меня на чем свет стоит. Кантебиле кинул себе в «буревестник» вторую битку, лавируя между машинами, подбежал ко мне и так крепко схватил меня, как будто я опасный преступник. Я протянул ему деньги, но он даже не посмотрел на них. Он подтолкнул меня к тротуару, потом к лестнице в Бани. Мы миновали парикмахерскую, кассу и выскочили в грязный коридор.

– Давай, давай, топай! – торопил меня Кантебиле.

– Куда топать-то?

– В сортир!

– Ты не хочешь взять деньги?

– Я что сказал? В сортир, в сортир давай!

Наконец-то я понял: ему приспичило, ему надо в уборную. Он не оставит меня одного. Значит, я должен идти с ним.

– О'кей, – сказал я. – Потерпите, тут рядом. – Мы пробежали предбанник. Двери на входе в туалет не было, только кабины с дверцами. Я хотел было присесть на скамейку в раздевалке, но Кантебиле с силой толкнул меня внутрь. Нужники в Русских банях – самое отвратительное место. От шипящих батарей пышет дурманящим жаром. Стены никогда не моют и не дезинфицируют. Острый запах мочи ест глаза почище лука.

– Ну и ну! – сказал Кантебиле. Ударом ноги он открыл кабину и приказал: – Заходи первый.

– Зачем нам вдвоем?

– Скорее, придурак!

– Мы тут не поместимся.

Кантебиле выхватил револьвер и сунул его мне под нос:

– Хочешь в зубы? – Он оттопырил верхнюю губу, ошетирил усики, брови дугой сошлись над носом, напоминая гарду на рукоятке кинжала. – В угол, живо!

Он захлопнул дверь, скинул реглан мне на руки, хотя на стене был крючок. На глаза мне попало еще одно приспособление, которое я не замечал раньше. К дверце была прикреплена медная полочка с полукруглым дном и надписью «Сигара» – остаток прежней роскоши. Кантебиле уже сидел на стульчаке, свесив между коленями руки, держащие револьвер. Глаза у него округлились.

В подобной ситуации я всегда могу переключиться на другое, подумать об условиях человеческого существования. Конечно, он хочет унижить меня. Только потому, что я *chevalier* какого-то *Legion d'honneur*? Хотя он вряд ли об этом знает. Зато Кантебиле знает, что я Башка, как говорят у нас в Чикаго, человек образованный, с определенными достижениями в области культуры. Именно поэтому я должен слушать его треск и бульканье, вдыхать его вонь? Вероятно, зверские замыслы вышибить мне мозги чуть не вызвали у него заворот кишок. Человечество полно самых злостных намерений. Чтобы отвлечься, я начал размышлять над поведением обезьян. В свое время я читал и Колера, и Джеркса, и Цукермана, а также заметки Маре о бабуинах и Шаллера о гориллах, и был более или менее знаком с широким репертуаром реакций человекоподобных на внешние раздражители. Не исключено, что по сравнению с Кантебиле я при всех самых культурных запросах и начитанности человек ограниченный. Я никогда бы не додумался до тех изощренных способов расправляться с другим, к каким прибегал он. Не указывает ли это на то, что у Кантебиле более богатые природные дарования и более плодотворное воображение, чем у меня? Погрузившись в успокоительные мысли, я сохранял самообладание и терпеливо ждал окончания процедуры. Сверху мне были видны корешки его коротко подстриженных курчавых волос и складки на черепе, когда он тужился. Он хотел наказать меня, но в результате почему-то сделался мне ближе.

Кантебиле встал, подтерся, поправил нижние концы рубахи, натянул штаны на бедра, застегнул пряжку пояса, сунул за пояс револьвер, брезгуя прикоснуться рукой к рычагу, спустил воду остроконечным носком ботинка и только после этого сказал:

– Если я тут что-нибудь подцеплю... – Сказал так, будто виноват в этом буду я. Видно, он вообще без зазрения совести всегда валил вину на ближнего. – Ты даже не представляешь, до чего противно здесь сидеть. Эти стариканы ссут прямо на стульчак. – Это он тоже поставил мне в упрек. – Кстати, кто хозяин этой дыры?

Вопрос интереснейший. Мне он никогда не приходил в голову. Бани были такой же древностью, как египетские пирамиды или сады Ашшурбанипала. Они такое же естественное явление, как дождь с неба или земное притяжение. Кто же все-таки хозяин?

– Никогда не слышал о владельце, – ответил я. – Кажется, какая-то фирма в Британской Колумбии.

– Ты не очень-то умничай! Ишь какой выискался. Я просто так спросил. Без тебя, мудака, узнаю.

Клочком туалетной бумаги он открыл водопроводный кран, вымыл руки без мыла: администрация не позаботилась о мыле. Я снова вытащил девять полусотенных, и он снова даже не посмотрел на них, заявив: «У меня руки мокрые». Вытирать их полотенцем на ролике он не стал. Оно было темного, грязного цвета. Я предложил Кантебиле свой носовой платок. Чхать он хотел на мою услужливость. От такого пощады не жди. Кантебиле растопырил пальцы, потряс руками, чтобы они обсохли.

– И эту дыру называют баней? – спросил он, не скрывая отвращения.

– М-м, моются, собственно, внизу, – промычал я.

Внизу располагались два длинных ряда душевых устройств, а за ними – тяжелая деревянная дверь в парную. Тут же стоял чан с холодной водой. Вода годами не менялась; допускаю, что там завелись крокодилы.

Кантебиле уже шел к стойке буфета, я поспешил за ним. Он выдернул из подставки несколько бумажных салфеток, вытер руки и, скомкав их, бросил на пол.

– Почему у вас в сортире нет ни мыла, ни порядочных полотенец? Похоже, вы там вообще не моете руки. И дезинфицирующих средств я тоже не видел.

– Не видели? – отозвался Мики. – Это у Джо надо спросить. Следить за чистотой – его работа. Лизол я ему самый лучший покупаю. – Потом обратился к Джо: – Ты разве не кладешь в туалет пахучие шарики?

Старый черный чистильщик сидел, забросив ноги на кресло для клиентов (его поза напоминала мою во время стояния на голове). Всем своим видом он показывал, что занят серьезными проблемами и не желает отвечать на глупые вопросы.

– Вот что, мужики, вы купите товар у меня, – сказал Кантебиле. – Дезинфицирующие средства, жидкое мыло, бумажные полотенца, все. Меня зовут Кантебиле. У меня магазин на Клайборн-авеню. – Он достал из кармана пестрый продолговатый бумажник из кожи страуса и бросил на прилавок несколько визиток.

– Я тут не хозяин, у меня только лицензия на ресторан, – заметил Мики, но карточку почтительно взял. Его большие пальцы были покрыты черными следами от порезов.

– Я жду вас, слышите? – сказал Кантебиле.

– Я передам это в дирекцию. Она в центре.

– Мики, кому принадлежат Бани? – спросил я.

– Я только дирекцию знаю. Она у нас в центре.

«Забавно будет, – подумал я, – если Бани принадлежат Синдикату».

– Джордж Суибл здесь? – осведомился Кантебиле.

– Нету.

– Я хочу черкнуть ему пару слов.

– Сейчас я вам бумаги дам, – сказал Мики.

– На хрена мне писать? Передай на словах, что он говно. Передай, что это я сказал.

Мики нацепил было очки, чтобы найти клочок бумаги, но, услышав Кантебиле, обернулся к нам, словно говоря, что его дело жарить мясо, готовить белую рыбу, шинковать капусту и только. Кантебиле не спросил о старом Мироне, который парился внизу.

Мы вышли на улицу. Небо очистилось. Я не знал, какая погода больше соответствует происходящему – плохая или хорошая. Воздух был свеж, показалось солнце. Тени от домов исполосовали тротуары.

– Ну а теперь позволь мне вручить деньги. Все купюры новенькие. На том, надеюсь, и поладим, мистер Кантебиле.

– Что?! Вручить и все? Думаешь, это так просто?

– Мне очень жаль, что так случилось. Правда, действительно жаль.

– Ему, видите ли, жаль! Лучше пожалей свою колымагу. Ты ведь что сделал, Ситрин? Аннулировал чек. Все об этом узнали и теперь треплют языками.

– Кто узнал, мистер Кантебиле? Кто это – «все»? Не принимайте это близко к сердцу. Признаю, я был не прав...

– Всего лишь не прав, образина?!

– Это было глупо с моей стороны.

– Еще бы не глупо! Ему говорят: аннулируй чек, а он и лапки кверху. Задница Суибл, он что – бог? Если он видел, что мы с Эмилем жульничали, почему молчал? Почему не схватил нас за руку? Ты сыграл со мной эту подлую штуку, и теперь тот, из похоронного бюро, и мужик с прокатом смокингов, и другие придурки распускают слух, что Ринальдо Кантебиле – слабак и подонок. Нет уж, это тебе не пройдет, понимаешь?

– Понимаю, теперь понимаю...

– Не знаю, что ты там понимаешь. Смотрел я на тебя за столом и гадал: когда же он проснется? Когда поймет, что делает?

Последнюю фразу он с расстановками, с яростными ударами бросал мне в лицо. Потом выхватил у меня из рук свой шикарный бежевый реглан с огромными пуговицами. Такие пуговицы были, наверное, в швейной шкатулке у Цирцеи – красивые, дорогие, по-восточному затейливые.

Последний раз похожее пальто я видел на полковнике Маккормике. Мне было тогда лет двенадцать. Перед Трибюн-тауэр остановился сверкающий лимузин, и оттуда выскочили два человека, у обоих в руках было по два револьвера. Они кружили по тротуару и проезжей части, приседали, заглядывали под машины, высматривая возможную опасность. Потом под охраной четырех стволов из лимузина вышел полковник в точно таком пальто табачного цвета, как у Кантебиле.

– Так вы полагаете, будто я не знаю, что делаю, мистер Кантебиле?

– Факт, не знаешь. Ты даже не знаешь, где у тебя задница.

Вероятно, он прав. Но я по крайней мере не измываюсь над людьми. Очевидно, жизнь у меня сложилась иначе, чем у других. А у них в силу каких-то неясных причин – иначе, чем у меня. Поэтому я не судья их поступкам. Я положился на Джорджа, знающего нравы дна, и вот сник перед Кантебиле. Единственное утешение – припомнить полезные вещи, которые я вычитал из книг по этиологии: как ведут себя крысы, утки, рыба-колюшка, мухи-жигалки. Иначе какой смысл в чтении, если оно не помогает в трудную минуту? Все, что мне сейчас было нужно, – доза морального удовлетворения.

– Так как же насчет этих полусотенных? – спросил я.

– Созрею, тогда возьму. Я скажу тебе... Как тебе понравилась твоя машина?

– Машина замечательная. Это жестоко – так поступить с ней.

Очевидно, он угрожал мне теми самыми битами, которыми молотил «мерседес»: похоже, на полу его «буревестника» есть и другие орудия разрушения и смертоубийства.

Кантебиле впихнул меня на переднее сиденье перед необозримой приборной панелью и рванул с места на предельной скорости, как неопытный гонщик. Визжали шины. Я покачивался на мягкой кожаной, красноватой, как кровь, подушке.

В машине у меня сложилось несколько иное мнение о Кантебиле. Резко очерченный профиль, на кончике носа – неестественно белая блямба, напоминающая гипс. Глаза темные, большие, зрачки расширенные, как от капель. Широкий рот с выпяченной нижней губой: он старался казаться взрослым. Все указывало на то, что Кантебиле стремился к какому-то идеалу, но не достиг его или достиг частично, это наложило на его внешность горестный отпечаток. Да и сам идеал был, надо полагать, такой же.

– Кто из вас воевал во Вьетнаме – вы или двоюродный брат Эмиль?

Мы неслись по Дивижн-стрит в восточную часть города. Кантебиле сидел, вцепившись в руль обеими руками, как будто это был отбойный молоток, которым он крушил дорожное покрытие.

– Эмиль в армии? Ты шутишь. Армия не для такого пацана. Давно признан негодным, практически психопат. Участвовал в единственных военных действиях в шестьдесят восьмом, когда молодежь перед «Хилтоном» бунтовала. Его выпихнули из толпы, он даже не понял, на чьей он стороне. Не, во Вьетнаме был я. Предки меня в занюханный католический колледж послали – я рассказывал о нем за покером, – но я дал деру и записался. Давненько это было.

– На передовой были?

– Ты меня не гони, слышь? Увел я батальонный бензовоз и загнал на черном рынке. Ну, меня, натурально, за решетку. Но предок по благу договорился с сенатором Дирксеном. Только восемь месяцев отсидел.

Значит, у него есть свой послужной список, думал я. Он хочет, чтобы я знал, что имею дело не с кем-нибудь, а с настоящим Кантебиле, осколком двадцатых годов. Военная тюрьма не шутка. С таким опытом на кого хочешь страху нагонишь. Его семейство связано, очевидно, с мелким бизнесом – отсюда и магазин моющих и дезинфицирующих средств на Клайборн-авеню. Заодно, возможно, владеет парой пунктов по обмену валюты – многие такие пункты принадлежат сейчас бывшим рэкетирам средней руки. Или истребляет крыс, дератизация – еще одно распространенное занятие среди людей с уголовным прошлым. Но ясно, что Кантебиле состоит в низшей лиге. Или работает один, на свой страх и риск. Я вырос в Чикаго и наслышан о таких делах. Настоящий криминальный авторитет прибегает к услугам наемников. Вито Лангобарди в голову не пришло бы держать в машине бейсбольные биты. Такие, как Вито, зимой летят в Швейцарию – покататься на лыжах. Летят, захватив с собой любимых собак. Вот уже несколько десятилетий никто из них не участвует в каких-либо насильственных действиях. Нет, неугомонный и непонятный Кантебиле не принадлежит к кругу крупных уголовников, как ни старается попасть туда. Незадачливых искателей удачи вроде него – пруд пруди. Санитарные службы регулярно вылавливают эту мелкую рыбешку в сточных водах города. Бывает, наполовину разложившиеся трупы обнаруживают в багажниках автомобилей на стоянке аэропорта О’Хэйр.

На следующем перекрестке Кантебиле поехал на красный свет и зацепил бампер чьей-то машины. Другие водители едва увертывались от лихача. А Кантебиле был великолепен. На руках у него были перчатки, какие покупают наездники в магазине Аберкомби и Фитча. И «буревестник» был великолепен. Сиденья были обтянуты на заказ мягчайшим красным сафьяном. Не доезжая до нужного поворота, Кантебиле резко свернул направо и на полном газу выскочил по наклонной лужайке на шоссе. Сзади нас завизжали тормоза. Из радио неслись ритмы рока. Наконец-то я сообразил, чем надушился Кантебиле. Да, это «Каноз». Однажды на Рождество я сам купил флакон у слепой по имени Мюриел.

Там, в грязном туалете Русских бань, когда Кантебиле спустил штаны, а я размышлял о Цукермановых обезьянах в лондонском зоопарке, мне стало ясно, что происходящее свидетельствует о человеческой склонности к лицедейству. Другими словами, меня сделали участником некоего спектакля. Однако роль, исполняемая Кантебиле, вряд ли выиграла бы от того, что он пальнул бы в меня из револьвера, который держал между коленями. Тогда он уподобился бы полусумасшедшему дядьке, опозорившему всю семью. И это было главное.

Боялся ли я Кантебиле? Нет, не боялся. Не знаю, что думал он, но то, что думал я, – яснее ясного. Погрузившись в размышления о том, что есть человеческое существо, я не стал противиться ему. Кантебиле, возможно, считал, что в руках у него безвольный, пассивный человек. Как бы не так. Но моя активность проявляется в другом. За картами я, кажется, заглянул ему в душу. Конечно, в тот вечер я порядком захмелел, если не окосел, и тем не менее усмотрел в нем внутренний стержень. Поэтому я не встал в позу, когда он начал угрожать мне: «Не допущу, чтобы со мной так обращались! Сейчас позову полицию...» и дальше в том же роде. Нет, от полиции нечего ждать. А Кантебиле произвел на меня странное и сильное впечатление.

У меня особый взгляд на человеческую природу. Я не был, подобно Гулливеру, в стране лошадей, но и без этого я понял, какие странные существа люди. И путешествую я не для того, чтобы поглядеть на заморские диковины, а чтобы забыть о них. Меня всегда тянуло к философскому идеализму, потому что я уверен: это не то же самое. Платоновский миф о душе подтверждает мое ощущение, что здесь я не первый раз. Все мы были здесь прежде и снова будем здесь потом. Где-то есть другое, то самое место. Может, такой человек, как я, вторично родился с каким-то изъяном. Перед тем как вернуться в земную жизнь, душа пребывает в забытии и забвении. Что, если мое забытие и забвение страдало каким-нибудь недостатком? Я никогда не был последовательным платоником. Никогда не верил, что могу перевоплотиться в рыбу или птицу. Если душа хоть однажды была человеческой, она не облечется в плоть паука. В моем случае (который, как я сам подозреваю, не столь уж редок) могло быть неполное забвение души, и неорганические условия перевоплощения отходили от нормы. Поэтому меня с раннего возраста удивляло и забавляло, что закрываются и открываются глаза, что раздуваются ноздри и растут волосы. Вероятно, это оскорбляло людей, забывших о своем бессмертии.

В связи с этим вспоминаю один великолепный весенний день и неслышно бегущие по небу тяжелые, белые, похожие на быков или бегемотов облака. Место действия – Аплтон, штат Висконсин. Взрослый человек влезает на ящик и заглядывает через окно в комнату, где он родился в 1918 году. Наверное, я был зачат в этой же комнате и по воле Божественного провидения стал в жизни тем-то и тем-то (Ч. Ситрин, литератор, лауреат Пулитцеровской премии, кавалер ордена Почетного легиона, отец Лиш и Мэри, муж А., любовник Б., серьезный человек, чудаковатая знаменитость). С какой стати этот тип забрался на ящик, наполовину скрытый кустом цветущей сирени, забрался без разрешения хозяйки дома? Я стучал, звонил в дверь, но она не отозвалась. И вот вижу, за моей спиной стоит ее муж, владелец заправочной станции. Я назвалса, но он был настроен очень воинственно. Я объяснил, что родился в этом доме, и спросил о старых соседях. Помнит ли он Сондерсов? «Ну, старый Сондерс – мой двоюродный брат», – ответил он. Имена соседей избавили меня от зуботычины. Не мог же я сказать ему: «Послушайте, я забрался на этот ящик за кустом, чтобы разгадать тайну человека. Я вовсе не собирался подглядывать за вашей дородной супругой, когда она не одета». Так уж получилось, что я увидел ее в одних панталонах. Рождение – вообще печальная штука (которую, слава Богу, можно предотвратить). В комнате, где я родился, я с грустью увидел толстую старуху в панталонах. Не теряя самообладания, она сделала вид, будто не замечает меня, не спеша вышла из комнаты и позвонила мужу. Тот прибежал со своей бензоколонки и ухватился грязными лапами за мой элегантный мышинный костюм – тогда был пик моего «изысканного» периода. У меня достало духу объяснить, что я приехал в Аплтон подготовить статью о Гарри Гудини, который тоже отсюда родом – о чем я уже неоднократно и навязчиво упоминал, – и что меня потянуло посмотреть на дом, где я родился. «А выходит, посмотрел мою супружницу, считай, голый», – заметил он.

Он не принял это маленькое происшествие близко к сердцу. Полагаю, он все понял. В таких делах люди быстро схватывают, что к чему. За исключением, конечно, тех, кто стоит насмерть, не желая признавать то, что всем известно с рождения.

Как только я увидел на кухне у Джорджа Суибла Ринальдо Кантебиле, я понял, что между нами существует какая-то естественная связь.

* * *

Кантебиле привез меня в клуб «Плейбой», членом которого состоял. Бросив свой «буревестник», «Бехштейн» среди автомобилей, на попечение служителя, он вошел внутрь. Миловидная девица в гардеробе улыбкой встретила знакомого клиента. По его поведению я догадался, что мне предстоит принести публичное извинение. Поскольку фамилия Кантебиле была

опозорена, семейный совет, может статься, повелел ему восстановить репутацию их честного имени мошенников и рэкетиоров. Восстановление займет, вероятно, целый день, а у меня масса неотложных дел, и от них так болит голова, что впору просить у судьбы пардону. Позиция у меня прочная, глядишь, и помилуют.

– Все собрались?

Кантебиле бросил реглан на руки гардеробщице, я тоже снял пальто, и мы вошли в полутьму роскошного, устланного коврами бара, где сверкали бутылки и сновали соблазнительные женские формы. Он подтолкнул меня к лифту, и мы в мгновение ока вознеслись на самый верхний этаж.

– Мы тут встретимся кое с кем. Когда подам знак, вытаскивай деньги и извиняйся.

Мы подошли к столику, за которым сидели двое.

– Билл, это Чарли Ситрин, – сказал Кантебиле Биллу.

– Майк, это Рональд Кантебиле, – вторил ему Билли.

Последовало обычное: «Как поживаешь? Присаживайся давай. Что будешь пить?»

Билл был мне не знаком, но Майка я знал. Это Майк Шнейдерман, репортер скандальной хроники, крупный загорелый мужчина – угрюмый и сонный, как нажившийся на нефти индеец из Оклахомы. Был он коротко подстрижен, носил огромные, с человеческий глаз, запонки и какой-то парчовый бант. Пил по старинке, не разбавляя, и курил сигару. Занимался тем, что часами торчал в барах и ресторанах, выуживая у собеседников слухи для своей колонки. Лично я не могу долго сидеть на одном месте и не понимаю, как это удается ему. Не понимаю также сидячую работу в конторах, банках и тому подобных местах. Когда американец говорит, что не создан для такой работы, он выдает себя за вольного художника или интеллектуала. Мы много раз говорили на эту тему с фон Гумбольдтом Флейшером, а иногда и с художественным критиком Гумбейном. Сидеть с людьми, выпытывая что-нибудь интересенькое, Майку Шнейдерману, похоже, тоже не подходило. Временами он просто-напросто скучал. Меня он, конечно, знал, однажды я даже выступил в его программе на телевидении.

– Здорово, Чарли! – бросил он мне и повернулся к Биллу: – Ты не знаком с Чарли? Знаменитая личность, но живет в Чикаго под чужим именем.

Я по достоинству оценил то, что сделал Кантебиле. Он приложил немало сил, чтобы устроить эту встречу. Какие только кнопки ему не пришлось нажимать! Вероятно, этот Билл, его знакомый, был чем-то обязан ему и согласился заполучить репортера Шнейдермана. Должок со стороны Билла был, надо полагать, немалый, поскольку сборище его явно не радовало. Внешность у него была как у члена коза ностра. Было что-то порочное в форме его носа. Он мощно загибался на конце, но все равно казалось, что нос – его слабое место. Словом, плохой нос. При других обстоятельствах я принял бы его за скрипача, которому опротивела музыка и он подался в винный бизнес. Билл только что возвратился из Акапулько, с него еще не сошел загар, однако он отнюдь не светился здоровьем и благополучием. Ринальдо он явно презирал. Но мои симпатии были на стороне Кантебиле. Он попытался организовать великолепную веселую вечеринку, достойную людей Возрождения, и только я понимал это. Кантебиле изо всех сил старался попасть в будущую заметку Майка. Тот, естественно, привык к тому, что за ним вечно гоняются желающие оказаться в числе счастливиц. Ты сообщаешь Майку очередную сплетню, и он печатает твое имя жирным шрифтом. Подозреваю, что за спиной честной публики совершалась масса сделок: ты – мне, я – тебе.

Полуодетая молодая особа приняла у нас заказ на выпивку. С пят до подбородка – прелесть, поверх подбородка – профессия. Мое внимание раздваивалось между ее соблазнительными грудками и озабоченно-деловым личиком.

Клуб «Плейбой» находится в одном из красивейших уголков Чикаго. Отсюда открывался изумительный вид на озеро. Мне его не было видно с моего места, но я и с закрытыми глазами мог представить поблескивающую серебром ленту шоссе и золотистую в солнечных лучах

поверхность Мичигана. Человек покорил пустынные пространства Америки, но земля не раз и не два жестоко мстила нам за это. А сейчас мы сидели, утопая в роскоши и богатстве; вокруг нас хорошенькие девушки, бутылки с тонким вином, мужчины в костюмах от модных портных, надушенные дорогим одеколоном, с дорогими камнями на пальцах. Шнейдерман снисходительно ждал подходящего сюжета. В соответствующей обстановке таким сюжетом был бы я. В Чикаго удивляются, что в других местах меня принимают всерьез. Когда меня приглашают на вечеринки с коктейлями люди, стремящиеся приобщиться к богатой культуре, я чувствую себя не человеком, а символом. Некоторые женщины говорили: «Так вы и есть Чарлз Ситрин? Не может быть!» Хозяев радует неожиданность впечатления. Что ж, я действительно выгляжу глубокомысленным, но ограниченным. У меня простое лицо, оно не идет в сравнение с лицами умудренных опытом, практических горожан. Женщины не скрывают удивления, когда видят, каков я в самом деле, известный мистер Ситрин.

Принесли выпивку. Я залпом выпил свое двойное шотландское виски и начал смеяться: спиртное действует на меня моментально, сразу хмелею. Остальные молчали, только Билл мрачно спросил:

– Чего радуешься?

– Да вот вспомнил, как мальчишкой учился плавать. Недалеко это было, в конце Оук-стрит, но до того, как построили небоскребы, чикагскую гордость. Так вот, мы приезжали на Золотой пляж на трамвае. С Дивижн-стрит трамвай ходил только до Уэлса. Мы обязательно брали с собой бутерброды в пакетиках. Мать по дешевке купила мне девчачий купальник с разноцветной юбочкой. Юбочка меня убивала, и я выкрасил ее чернилами. Помню, копы тыкали в нас своими дубинками – это чтоб мы скорее переходили мостовую... И вот я сижу здесь за стаканом виски...

Кантебиле толкнул меня ногой под столом (оставив, как я потом обнаружил, грязное пятно на брюках). Брови его поползли вверх, лоб сморщился, нос побелел, как свечка.

– Между прочим, Рональд... – начал я, вытаскивая банкноты. – Я должен тебе деньги.

– Какие деньги?

– Ты что, забыл? Я же тебе в покер проиграл. Четыреста пятьдесят долларов как один цент.

– Не понимаю, о чем ты говоришь. Какие деньги? Какой покер?

– Как ты мог забыть? Мы играли на квартире у Джорджа Суибла.

– С каких это пор книжники и фарисеи играют в покер? – вставил Майкл Шнейдерман.

– А что тут такого? Ничто человеческое нам не чуждо. В покер даже в Белом доме играют.

Куда уж респектабельнее. Гардинг играл, а во времена Нового курса – Рузвельт, Моргантау и другие тоже.

– Рассуждаешь, как чикагский мальчишка из трущоб Уэст-Сайда, – заметил Билл.

– Это точно. Учился в школе Шопена. Она на пересечении Райс-стрит и Уэст-стрит.

– Убери свои деньги, – сказал Кантебиле. – За выпивкой дела не делают. Потом отдашь.

– Почему не сейчас, раз я вспомнил? Прошлой ночью просыпаюсь весь в поту. Господи Иисусе, думаю, я же забыл отдать Ринальдо деньги. Хотел мозги себя вышибить...

– Ладно, ладно, давай! – выкрикнул Кантебиле, выхватывая пачку у меня из рук, и сунул ее во внутренний карман не глядя, не пересчитывая.

Глаза его метали молнии. Я не мог взять в толк почему. Зато я знал, что Майк Шнейдерман может написать о тебе в газете. А если твое имя появилось в печати, считай, что ты жил не напрасно. Ты не просто двуногое существо, каких полным-полно на Кларк-стрит, тех, кто пачкает светлую вечность низменными помыслами и поступками.

– Что теперь подельываешь, Чарли? – спросил Майк Шнейдерман. – Еще одну пьесу ваяешь? Или кино? Знаешь, – обратился он к Биллу, – Чарли у нас настоящая знаменитость. Его вещица на Бродвее много шума наделала. А вообще-то он кучу всякого написал.

– Да, был у меня на Бродвее звездный час. Такое вряд ли повторится. Так что лучше не пытаться.

– Да, кстати... От кого-то я слышал, что собираешься издавать какой-то высоколобый журнал. Когда первый номер выходит? Могу рецензушку тиснуть.

– Нам пора двигать, – прервал нас Кантебиле.

– Я позвоню, когда у меня что-нибудь будет. А что до рецензушки, спасибо. Поддержка никогда не мешает, – ответил я, многозначительно глядя на Кантебиле. Тот пошел к выходу, я – за ним.

– Ты что, совсем охренел? – набросился он на меня в лифте.

– Что я такого сделал?

– Сказал, что хотел вышибить себе мозги, – вот что. Разве тебе, недоумку, не известно, что шурин Майка два месяца назад вышиб себе мозги?

– Не может быть!

– Это во всех газетах было! Он поддельные боны в качестве обеспечения выдал.

– А, это... Тот самый Голдхаммер, который собственные облигации печатал. Фальшиво-монетчик...

– И не притворяйся, что не знал. Ты специально это сказал, чтоб навредить мне, расстроить мой план.

– Не знал, ей-богу, не знал! Вышибить себе мозги – это же обычное выражение...

– Только не в данном случае! – яростно твердил он. – Все ты прекрасно знал. И что его шурин застрелился – тоже знал.

– Я просто не связал два события. По Фрейду, абсолютно ненамеренно.

– Ты всегда притворяешься, будто не знаешь, что делаешь! Еще скажешь, что не знаешь этого длинноносого парня?

– Билла?

– Да, Билла! Это Билл Лэйкин, банкир. Его вместе с Голдхаммером обвинили. Он фальшивые облигации как настоящие принял.

– В чем же его обвинили? Голдхаммер просто обманул его, и все.

– В чем, в чем, куриная ты башка. Ты что, не понимаешь, о чем пишут в газетах? Он еще купил у Голдхаммера акции «Ликейтрайда», по доллару за штуку вместо шести. Может, ты и о деле Кернера ничего не слышал? Ну да, нас такие вещи не интересуют. Пусть другие из-за них убиваются. Занесся ты, Ситрин, загордился. Презираешь нас.

– Кого это – нас?

– Нас, простых людей во всем мире...

Спорить с Кантебиле было неуместно. Я должен преисполниться к нему уважением и страхом. Он еще больше разозлится, если увидит, что я не боюсь его. Не думаю, что Кантебиле пристрелил бы меня, но избить мог, даже ногу сломать. Едва мы вышли из клуба, он сунул мне деньги назад.

– Начинаем сначала? – робко спросил я.

Кантебиле ничего не ответил. Он стоял, сердито скособочившись, пока не подошли «буревестник». Пришлось снова лезть в машину.

Следующая наша остановка была где-то на шестидесятых или семидесятых этажах здания Хэнкока. Мы вошли в помещение, напоминавшее одновременно частную квартиру и офис. Оно было отделано пластиком. Здесь явно поработал художник по интерьеру. По стенам были развешаны гравюры и чеканка всевозможнейших форм типа *trompe l'oeil*¹¹, создающие впечатление реальных предметов. Подобные произведения искусства почему-то привлекают деловых людей, которые часто становятся жертвой мошенников, орудующих по части художественных

¹¹ Изображение, создающее впечатление реальности (*фр.*).

ценностей. Нас встретил пожилой джентльмен в бежевом пиджаке спортивного покроя, сшитом из рогожки с золотыми нитями, и полосатой рубашке, обтягивающей необъятный живот. Седые прилизанные волосы на узкой голове, крупные печеночные пятна на тыльной стороне ладоней, нездоровые впадины под глазами и у крыльев носа. Он опустился на низкий диван, вероятно, набитый пухом, поскольку просел под его тяжестью, и вытянул по ворсистому ковру цвета слоновой кости свои длинные ноги в туфлях из крокодиловой кожи. Из-под нависшего живота вырисовывался под штанами его половой член. Длинный нос, выпяченная нижняя губа, двойной подбородок хорошо гармонировали с золотыми нитями в пиджаке из рогожки, с шелковой рубашкой и плетеным галстуком, с крокодиловой кожей туфель и произведениями искусства *trompe l'oeil*.

Из разговора я понял, что наш хозяин торгует ювелирными изделиями и связан с уголовным миром. Как знать, может, в придачу скупает и краденое.

У Ринальдо Кантебиле и его жены приближалась очередная годовщина, и он высматривал ей в подарок браслет. Слуга-японец принес напитки. Вообще-то я пью мало, но сегодня по понятным причинам меня тянуло на виски, и я принял еще одну двойную порцию «Черного ярлыка». С хэнкоковской высоты я созерцал чикагское небо в этот короткий декабрьский день. Пробивающееся сквозь облака тощее солнце освещало тусклым оранжевым светом темнеющие силуэты зданий, речные притоки, черные формы мостов. Серебристое с голубовато-фиолетовым отливом озеро готовилось надеть ледяной покров. Я подумал, что если Сократ прав, утверждая, что у деревьев ничему не научишься и только люди на улице помогут тебе познать самого себя, то я на ложном пути, поскольку моя мысль прикована к пейзажу, к природе и я не прислушиваюсь к разговору товарищей по человечеству. Очевидно, я плохо перевариваю товарищей по человечеству. Когда тяжело на сердце, я думаю о воде. Сократ поставил бы мне тройку. По-видимому, я ближе к Вордсворту в понимании порядка вещей – деревья, цветы, ручьи. Зодчество, инженерное искусство, электричество вознесли меня на шестьдесят четвертый этаж. Скандинавия прислала нам стекло для окон, Шотландия поставила виски, а я вспоминаю об удивительных свойствах Солнца. Например, о том, что гравитационное поле нашего светила преломляет свет, приходящий с других звезд. Солнце словно кутается в потоки вселенского свечения. Это еще Эйнштейн предсказал, а Артур Эддингтон экспериментально подтвердил отклонение светового луча в поле тяготения Солнца. Вот что значит найти, не пускаясь на поиски.

В комнате между тем постоянно звонил телефон, и кажется, ни одного местного звонка, все междугородние: Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк. «Пошли парня к Тиффани, пусть узнает, сколько они просят за такую вещицу», – говорил наш хозяин. Потом я услышал разговор об алмазах и о каком-то индийском радже, который готов продать кучу камешков и ищет в США покупателей. Пока Кантебиле разглядывал бриллианты (мне они казались отвратительными), старый барыга обратился ко мне:

- Мы с вами где-то встречались, нет?
- Встречались, – ответил я. – По-моему, в Центральном оздоровительном клубе.
- А-а, да-да. С вами был еще этот... как его, юрист. Большой говорун.
- Шатмар?
- Да, Алек Шатмар.

Перебирая пальцами украшения и не поднимая головы с бархатной подушечки, Кантебиле сказал:

- Знаю я этого сукина сына Шатмара. Говорит, что он твой старый приятель, Чарли.
- Верно говорит. Мы в школе вместе учились. Он и еще Джордж Суибл.
- Когда это было? В каменном веке.

Да, я встречал этого старого джентльмена в лечебных ваннах клуба. Сидя в горячей воде, народ обсуждал там спортивные новости, налоги, телепередачи, бестселлеры или житей-бытье

в Акапулько и личные банковские счета на Каймановых островах. Не знаю, правда, снимал ли этот торгош одну из тех пресловутых сабаñas¹² за плавательным бассейном, куда во время сиесты зазывали молоденьких цыпочек. Иногда из-за этого разражался скандал. Никому, разумеется, не было дела до того, что творилось за задернутыми занавесями в этих кабинетах, но кто-то видел, как стариканы демонстративно ласкают своих куколок на солнечной веранде. Один даже вынул на людях вставную челюсть, чтобы от души насладиться поцелуем в девичий ротик. Однажды я видел в «Трибюн» интересное читательское письмо. Вышедшая на пенсию учительница истории, проживающая в том же здании, где находится клуб, писала, что старые развратники дадут сто очков вперед Тиберию, который устраивал оргии в каприйских гротах. Понятно, что историчка решила не только возмутиться, но и похвастаться знаниями. Но что нашим героям, занятым в большом рэжете или в политике Центрального округа, до классных дам и классических сравнений? Если они и ходят в кинотеатр Вудса посмотреть «Сатирикон» Феллини, то лишь для того, чтобы узнать о свежих веяниях в сфере секса, а не потому, что интересуются творчеством прославленного итальянца или историей имперского Рима. Я сам видел, как некоторые почтенные пузатые шалуны тискают на веранде тинейджеров-потаскушек.

Мне подумалось также, что слуга-японец наверняка отменный дзюдоист или каратист, как в кино об агенте 007: в квартире полно ценных вещей. Кантебиле изъявил желание посмотреть часы фирмы «Аккутрон», и тот принес пару дюжин, краденые или нет – кто знает? Положиться на мое разгоряченное воображение нельзя. Меня манила и волновала уголовщина. Я чувствовал, что вот-вот рассмеюсь. Это верный признак моей слабости к сенсации, чисто американская, чикагская и моя личная потребность во внешних раздражителях, нелепостях, чрезвычайщине. Я знал, что воровство поставлено в Чикаго на широкую ногу и разнообразно. Говорят, что если ты знаком с ворами высокого полета, то можешь покупать предметы роскоши за полцены. Карманы чистит шпана под надзором наставников вроде Феджина в «Оливере Твисте». На магазинные кражи отряжают наркоманов и платят им героином. Полиция закрывает глаза, потому что подкуплена. Торговцы не поднимают шума, потому что на них давит полиция, да и на страховку можно рассчитывать. Кроме того, существуют небезызвестные «усадка, усушка, утруска» или «естественные» потери, о которых ежегодно сообщается в «Налоговых ведомостях». Человек спокойно относится к коррупции, если вырос в Чикаго. В известном смысле она даже необходима, поскольку совпадает с чикагским взглядом на общество, где простодушие – непозволительная роскошь.

Я сидел в глубоком кресле, держа в руках виски со льдом, и поочередно рассматривал предметы туалета Кантебиле: его шляпу, пальто, костюм, туфли, сделанные, быть может, из кожи неродившегося теленка, его жокейские перчатки, и мне казалось, что вижу, какими кривыми путями достались ему эти вещи из магазинов «Филд», «Сакс» (на Пятой авеню!) и «Аберкромби и Фитч». При всем том наш хозяин, насколько я мог судить, не испытывал к нему особого почтения.

Ринальдо приглянулись какие-то часы, и он надел браслет на руку, предварительно бросив японцу свои. Тот поймал их на лету. Я подумал, что пора произнести заученную реплику, и сказал:

- Да, кстати, Рональд, после того вечера я тебе деньги должен. Совсем запамятовал.
- После какого вечера?
- Когда мы у Джорджа Суибла играли в покер, помнишь?
- Джордж Суибл – тот, что мускулы накачивает? Я его знаю, – сказал джентльмен-делец. –

Компанейский парень. И потрясаяще тушит рыбу в вине, надо отдать ему должное.

¹² Хижины (исп.).

– Это я втравил Рональда и его двоюродного брата в игру. Признаюсь, виноват, – пока-янно произнес я. – Но Рональд всех нас обчистил. Такого покериста, как он, поискать. Я около шести сотен спустил, пришлось дать расписку. Рональд, деньги у меня при себе, возьми, пока мы оба опять не забыли.

– Давай, – согласился он. И снова не глядя сунул пачку во внутренний карман. Свою роль он вел лучше, чем я свою, хотя я и старался изо всех сил. И понятно: Кантебиле был оскорблен, что задевало его честь. Он имел право сердиться, в этом было его преимущество.

Когда мы вышли на улицу, я снова спросил:

– Теперь все о'кей?

– О'кей? – возразил он громко и злобно. – Как бы не так! – Кантебиле еще не хотел отпускать меня.

– Старый индюк наверняка раззвонит, что я расплатился. Чего же еще? – спросил я и добавил почти про себя: – Где только он такие штаны шьет? Одна ширинка в два фута.

Но Кантебиле еще дышал гневом. Мне не понравился его кинжальный взгляд.

– Значит, порядок? Тогда я беру такси...

– Подожди! – сказал он, схватив меня за руку.

Я не знал, что мне делать. У него револьвер. Я тоже давно подумывал о том, чтобы купить оружие. Мы же в Чикаго. Но мне не дадут разрешения. Кантебиле – тот обходится без разрешения. В этом еще одно различие между нами. Одному Господу Богу ведомо, что может произойти из-за различий.

– Тебе что, не нравится, как мы проводим день? – спросил он, щерясь.

Я тоже хотел ответить шуткой, но безуспешно. Шутка застряла в горле.

– Залезай в машину! – приказал Кантебиле.

Я снова тону в глубоком, пахучем, красном, как кровь, сиденье и стараюсь пристегнуть ремень (никогда не нащупаешь пряжку сразу!).

– Плюнь, нам недалеко.

Информация утешала. Мы выехали на Мичиганский бульвар и двинулись к югу.

Остановились мы у строящегося небоскреба. Голый скелет здания над нами был усеян огнями, а внизу сгущались ранние декабрьские сумерки. Рыжее солнце на западе шустрым лисом нырнуло в свою нору, оставив по себе багровое свечение, которое я видел сквозь переплеты надземки. Тысячи электрических лампочек на столбах, балках, подмостках походили на пузырьки в бокале шампанского. Законченный небоскреб никогда не будет таким красивым. Кантебиле повел меня по дощатому настилу, уложенному для грузовиков. Он шел быстро: место ему было знакомо. Допускаю, что он имел клиентов среди здешних верхолазов. С другой стороны, будь Кантебиле вымогателем и ростовщиком, он не рискнул бы прийти сюда после наступления темноты. Работяги здесь отчаянные, могут уронить что-нибудь тяжелое на голову или столкнуть с лестницы. Строители – народ лихой. Они пьют и швыряют деньги направо и налево – когда они есть. Мне нравится, как эти ребята выводят на недостижимой высоте имена подружек. Снизу частенько увидишь написанные огромными буквами женские имена. А по воскресеньям они приводят сюда свою Донну или Сью и показывают любовные подношения на тридцать третьем этаже. Бывает, правда, они срываются со строительных лесов и расшибаются насмерть. Предусмотрительный Кантебиле прихватил с собой пару железных касок.

По дороге он рассказал, что на строительстве вкалывает бригадиром его родственник, что у него самого связи с подрядчиком и архитектором и вообще он проворачивает здесь кое-какие дела. Говорил Кантебиле быстро, я не успевал усваивать. Огромный грузовой лифт понес нас вверх, все выше и выше.

Как передать мои чувства? Страх, нервное возбуждение, ожидание чего-то необычного – все вместе. Я еще раз оценил изобретательность моего мучителя. Мне казалось, что мы поднимаемся высоко и слишком быстро. Где мы сейчас? Какую кнопку он нажал? Днем я нередко

любуюсь башенными кранами с оранжевыми кабинами. Они поднимают кверху стрелы, как богомол лапки. Уж не знаю, на какой этаж вознес нас лифт. Густая снизу россыпь огней оказалась здесь реденькой чередой лампочек. Только и было света что от холодного и серенького гаснувшего дня. В стальных ребрах свистел ветер и хлестал полотнищами брезента. На востоке твердела ледяная вода озера и тянулась, как плоская каменная пустыня, а в противоположном направлении виднелись чудовищные извержения темных тонов. Промышленные выбросы добавляли ядовитой красоты вечернему Чикаго. Подъемник остановился, мы вышли. Десяток рабочих, стоявших на площадке, тут же набились в лифт. Хотелось крикнуть им «подождите!», но они словно провалились, оставив нас неизвестно где. Кантебиле, похоже, знал, куда идет, однако разве доверишься такому? Что-что, а притворяться он умел.

– Пошли, – сказал он.

Я шел медленно, ему приходилось останавливаться и ждать меня. Здесь, на пятидесятом или шестидесятом этаже, были установлены щиты от ветра, но они дрожали под его порывами. Глаза у меня слезились. Я ухватился за какой-то столб.

– Эй ты, баба, подойди к перилам, – сказал он.

– У меня подметки кожаные. Скользят.

– Не бойся, иди.

– Не пойду. – Я обхватил столб обеими руками.

Кантебиле видел, что я дошел до точки.

– Хрен с тобой... А теперь смотри, что значат для меня твои поганые деньги. Смотри... – Он прислонился спиной к стальной балке, стянул перчатки, достал деньги. Сначала я ничего не понял. Потом вижу, он складывает из банкноты бумажную стрелу и, засучив рукав реглана, пускает ее. Ветер подхватывает стрелу, она скользит вниз, в темноту, на Мичиганский бульвар, где уже развешаны рождественские украшения и между деревьями протянуты гирлянды из стеклянных шариков. Цепочки провисают вниз и похожи на клетки под микроскопом.

Теперь главная проблема – спуститься вниз. В газетах пишут о том, что люди часто падают – падают с лестницы, из окна, с крыши. Я был измотан и испуган, зато моя падкая на крайности натура испытывала удовлетворение. Ублажать меня – задача трудная. У меня слишком высока планка удовлетворяемости. Надо опустить ее. И вообще пора менять жизнь.

Кантебиле продолжал пускать стрелы из полусотенных. Оригами, услужливо подсказала педантичная, привычная к слову память, культивируемое в Японии искусство складывания бумажных фигур. В прошлом году, да, кажется, в прошлом, где-то прошел международный съезд любителей летательных аппаратов из бумаги. Участвовали преимущественно математики и инженеры.

Одни стрелы Кантебиле летели вверх, вниз и в стороны, как зяблики, другие скользили плавно, как ласточки, третьи порхали, как бабочки. К ногам прохожих на бульваре небесной манной сыпались зеленые бумажки с изображением Улисса С. Гранта.

– Парочку я оставлю, – сказал Кантебиле. – Выпьем, пообедаем вместе.

– Если только я доберусь до земли.

– Все нормально. Давай топай назад первый.

– Подметки у меня жутко скользкие. На днях наступил на улице на кусок вощенной бумаги и упал. Может, снять туфли?

– Не психуй. Иди на цыпочках.

Помосты были довольно широкие и выглядели надежно – если не думать о высоте. Мелкими шажками я двинулся вперед, думая об одном: только бы судорога икры не свела. Пот заливал мне лицо. Кантебиле шел за мной по пятам, слишком близко. Наконец я ухватился за последний столб.

Внизу дожидалась подъемника кучка работяг. Нас они приняли, вероятно, за профсоюзников или подручных архитектора. На землю уже спускалась ночь, и все Западное полушарие

вплоть до Мексиканского залива погрузилось во тьму. Я с облегчением упал на сиденье «буревестника». Кантебиле убрал обе каски и завел мотор. Мог бы уже и отпустить меня, паразит, ведь натешился вдоволь.

Но он уже жал вовсю. Я сидел, задрал голову, как при кровотечении из носа, и не зная, куда едем.

– Послушайте, Ринальдо, – сказал я. – Вы доказали свою правоту. Расколошматили мой автомобиль, целый день таскаете меня за собой, страху нагнали – на всю жизнь запомню. Может, хватит, а? Я вижу, вас интересовали не деньги. Давайте выкинем последнюю сотню в водосток, и я пойду домой.

– Что, не нравится? – ощерился он.

– Для меня это был покаянный день, – признался я и про себя подумал: «окаянный».

– Больно ты заумные слова любишь, Ситрин. Я уж их за покером от тебя слышался.

– Каких же еще?

– Например, люмпены, люмпен-пролетариат. Ты нам целую лекцию прочитал про Карла Маркса.

– Ну и занесло же меня! Совсем разошелся. С чего бы это?

– Захотел познакомиться с уголовниками и всякими подонками – вот с чего. Захотел как бы заглянуть в трущобы. Радовался, что играешь в карты с нами, полуграмотной шпаной.

– Да, это было оскорбительно.

– Вроде того. Правда, и интересно. Особенно когда говорил об общественном устройстве или о том, как средние классы мучит совесть из-за люмпен-пролетариата. Но народ ни хрена не понимал, о чем ты там толкуешь. – Первый раз за весь день Кантебиле говорил спокойно.

Я выпрямился и посмотрел на речные огни справа и на украшенный к Рождеству Торговый центр слева. Мы ехали в старинную ресторацию Джина и Джорджетти, что в самом конце этой ветки надземки. Поставив «буревестник» среди роскошных до неприличия авто, мы вошли в неказистое, издававшее виды здание. Там – да здравствует шикарный интим! – на нас тихоокеанским прибоем обрушилась музыка из проигрывателя. Богатый бар был заполнен богатыми клиентами с хорошенькими спутницами. Огромное зеркало, отражавшее ряды бутылок, напоминало групповую фотографию небесных посланцев.

– Джулио, – сказал Кантебиле официанту. – Нам столик в укромном уголке, только подальше от туалета.

– Может, наверху, мистер Кантебиле? – осведомился тот.

– Можно и наверху, – вставил я. Мне не хотелось ждать в баре, пока освободится хорошее местечко. Прогулка с паразитом и без того затянулась.

Кантебиле нахмурился, как бы говоря: «Тебя не спрашивают!» – но потом согласился:

– Хорошо, давай наверху. И подай пару бутылок моего шампанского.

– Сию минуту, мистер Кантебиле.

Во времена Аль Капоне воры в законе устраивали на банкетах потешные бои. Стреляли пробками от шампанского и поливали друг друга пенящимся вином.

– А теперь я хочу кое-что тебе сказать, – начал Ринальдо Кантебиле. – Не о том, о чем ты думаешь, совсем о другом. Я ведь женат, ты знаешь.

– Да, помню.

– Женат на замечательной, красивой и умной, женщине.

– Да, ты говорил о ней в тот вечер... Что она делает? Есть дети?

– Она у меня не домохозяйка, заруби себе на носу. Думаешь, я женился бы на бабе, которая ходит весь день в бигудях и торчит перед телевизором? Не-е, приятель, у меня настоящая женщина, головастая, образованная. Преподает в Манделейнском колледже и работает над кандидатской диссертацией – и знаешь где? В Гарварде, в Редклиffe.

– Это здорово. – Я опорожнил бокал шампанского и налил еще.

– Ты нос не вороти! Лучше спроси, какая тема, тема диссертации.
– Хорошо, спрашиваю – и какая же у твоей жены тема?
– Пишет исследование о поэте, с которым ты дружил.
– Не шутите. Неужели о фон Гумбольдте Флейшере? И откуда вам известно, что мы дружили?.. А-а, я говорил о нем у Джорджа. Надо было запереть меня в шкаф, чтобы не мешал игре.

– Играть с тобой неинтересно. Зачем жульничать с вахлаком, который не соображает, что делает? Разболтался тогда, как девятилетний пацан. О юристах все распространялся, о судах, о неудачных капиталовложениях. Говорил, что журнал собираешься издавать. Но это же деньги на ветер. Еще сказал, что на собственные идеи и денег не жалко.

– Я такие вещи с малознакомыми людьми обычно не обсуждаю. Чикаго кого хочешь с ума сведет.

– Теперь слушай сюда... Я горжусь своей женой, очень горжусь. У нее богатые предки, высший класс... – Я давно заметил: когда люди хвастаются, цвет лица у них меняется к лучшему. У Кантебиле тоже щеки порозовели. – Небось думаешь, что она делает с таким мужиком, как я?..

– Нет-нет, что вы... – поспешил пробормотать я, хотя вопрос напрашивался сам собой. История знает массу примеров, когда воспитанных и высокообразованных женщин привлекают негодяи, уголовники, безумцы, а сами негодяи, уголовники и безумцы тянутся к культуре, к мыслящим людям. Дидро и Достоевский познакомили нас с этим явлением.

– Я хочу, чтобы она защитилась, жутко хочу, понимаешь? Ты был приятелем этого самого Флейшера. Поэтому должен сообщить Люси кое-какие сведения и вообще поднатаскать ее.

– Погодите, погодите...

– Посмотри вот это. – Он подал мне конверт, я надел очки и пробежал глазами листы.

Это было письмо образцовой выпускницы высшего учебного заведения – вежливое, обстоятельное, композиционно выстроенное и академически многословное. Письмо было подписано: «Люси Уилкинс Кантебиле». Три машинописные страницы, напечатанные через интервал и пестрящие вопросами, трудными, мучительными вопросами. Муж миссис Кантебиле не сводил с меня глаз.

– Ну что теперь скажешь?

– Потрясающее сочинение! – На меня накатило отчаяние. – И что же вы от меня хотите?

– Чтобы ты ответил на вопросы и сообщил интересные факты. А как тебе вообще ее тема?

– Мертвые должны дарить нам жизнь.

– Ты эти шуточки, Чарли, брось! Я этого не люблю.

– А мне-то что? Бедный Гумбольдт, человек возвышенной души. Его погубила... Впрочем, не важно... Возня с диссертациями – замечательное занятие, но я в ней не участвую и, кроме того, не люблю отвечать на вопросы. Идиоты лезут со своими вопросниками, и ты ломай голову. Не выношу этого.

– Ты считаешь мою жену идиоткой?

– Не имел чести познакомиться с ней.

– Тебя малость оправдывает история с «мерседесом», да и сегодня я задал тебе жару. Но жену мою уважай, слышь?

– Есть вещи, которых я в жизни не делал и не буду делать. Ваша идея – из таких. Никаких ответов я писать не буду. Я на них месяц ухлопаю.

– Послушай меня!..

– Все, точка.

– Погоди...

– Иди к черту!

– Ты полегче, полегче... Я все понимаю, но мы можем договориться. Слушал тебя за покером и подумал: у этого парня куча неприятностей, ему нужен компаньон, жесткий, практичный. Я много размышлял, и у меня появились идеи. Мы с тобой сторгуемся, факт.

– Я не желаю ни о чем торговаться. С меня хватит. У меня голова раскалывается. Я хочу домой.

– Сначала прикончим бутылки и по бифштексу, тебе нужно мяса с кровью. Придешь в себя – сделаешь как я прошу.

– Ни за что.

– Джулио, прими заказ, – сказал Кантебиле.

Если бы знать, почему я так привязан к умершим. Услышав о кончине того или иного, я часто говорю себе: я должен жить ради них и продолжать их работу. Но это, естественно, мне не по силам. Зато я заметил, что перенимаю определенные черты их характера. С течением времени, например, обнаружил, что живу нелепо, в духе фон Гумбольдта Флейшера. Потом постепенно стало ясно, что он был как бы моим представителем, выступал как мое доверенное лицо. Лично я – человек уравновешенный, но Гумбольдт своими безумными поступками выражал некие сокровенные мои побуждения. Это объясняет мое тяготение к некоторым личностям – к тому же Гумбольдту или Джорджу Суиблу, даже к типам вроде Кантебиле. Такое делегирование психики берет начало, вероятно, в системе представительного правительства. Проблема в том, что, когда твой друг-представитель, друг-выразитель умирает, порученное ему возвращается к тебе. А поскольку ты сам тоже выражаешь устремления других людей, дело запутывается и превращается в сущий ад.

Продолжать жить за Гумбольдта? Он мечтал украсить мир сиянием ума и духа, но ему не хватило материала. Он успел прикрыть человека только до пояса, внизу осталась уродливая нагота. Гумбольдт – восхитительный и великодушный человек с золотым сердцем. Но его ценные качества нынче считаются старомодными. Сияние, которого он добивался, устарело, и его было мало. Теперь нам нужно новое, совсем другое сияние.

И тем не менее за мной охотятся Кантебиле и его жена-диссертантка. Они заставляют меня вспомнить дорогие ушедшие деньки прежней Деревни, где поэты, художники, артисты крутили любовь, спивались, сходили с ума, стрелялись. Мне неинтересна эта парочка. Я пока плохо представляю миссис Кантебиле, но Ринальдо – один из скопища сброда нашего многоопытного практичного мира; в любом случае я был не в таком настроении, чтобы мне выкручивали руки. Мне не составило бы труда поделиться информацией с честным исследователем или даже с молодым, начинающим ученым. Помимо всего прочего, я сейчас занят, отчаянно, безумно занят личными и, как говорится, общественными делами. Личные – это Рената и Дениза, консультации с моим финансовым советником и с адвокатом, переговоры с судьей и множество других эмоциональных встрясок. Общественные – это участие в жизни моей страны, Западной цивилизации и мирового сообщества, наполовину выдуманного. Как редактор серьезного журнала «Ковчег», каковой, вероятно, никогда не появится, я должен думать о значительных выступлениях, дабы напомнить миру забытые истины. Мир, определяемый хронологическими вехами (1789–1914–1917–1939) и ключевыми словами (Революция, Технология, Наука и пр.), тоже был причиной моей занятости. Человек в долгу перед этими датами и понятиями. История так насыщена событиями, так непреодолима и трагична, что хочется лечь и уснуть. Я наделен исключительным даром быстро засыпать. Я смотрю на фотографии, сделанные в роковые часы человечества, и вижу себя удивительно молодым, с пышной шевелюрой. На мне двубортный костюм по моде тридцатых – сороковых, он плохо сидит. Я стою под деревом с трубкой в зубах, рука об руку с хорошенькой пухленькой девушкой. Смотрю и вижу, что сплю стоя, сплю мертвецким сном. Я проспал многие мировые кризисы (когда гибли миллионы).

Все это чрезвычайно важно. Признаюсь, что переехал жить в Чикаго с тайным намерением написать что-нибудь серьезное. Склонность к летаргическому существованию связана с этим намерением – написать об извечной борьбе между сном и бодрствованием, заложенной в природе человека. В последние годы президентства Эйзенхауэра я увлекся темой скуки. Чикаго – идеальное место для работы над ней; здесь я и создал свое главное эссе «О хандре». Именно на чикагских улицах лучше всего изучать состояние человеческого духа в индустриальную эпоху. Если кто-то предложит новое понимание Веры, Надежды, Любви, ему придется поломать голову над тем, кто примет его. Ему придется прежде разобраться в том немыслимом страдании, которое мы именуем скукой, тоской, хандрой. Я попытался трактовать хандру, как Адам Смит, Мальтус, Джон Стюарт Милль и Дюркгейм трактовали народонаселение, богатство, разделение труда. История и темперамент поставили меня в особое положение, и я старался обратить это обстоятельство в свою пользу. Я недаром читал великих специалистов по тоске – Стендаля, Кьеркегора, Бодлера. Я работал над эссе много лет. Я разгребал завалы материала, как шахтер разгребает завалы угля, но трудился несмотря ни на что. Я говорил себе, что даже Рип ван Винкль проспал всего двадцать лет, тогда как Чарлз Ситрин – на два десятилетия больше. Меня переполняла решимость высечь из потерянного времени искры истины. Такая же усиленная умственная работа продолжалась в Чикаго, где ради обострения восприимчивости я вступил в Центральный оздоровительный и носился по корту с торговцами ширпотребом и выбивавшимся в джентльмены хулиганьем. Дурнвальд однажды в шутку обмолвился, что о загадках сна много понаписал знаменитый, хотя и непонятный философ Рудольф Штейнер. Его книги, которые я поначалу читал лежа, вызвали во мне желание подняться. Штейнер утверждал, что между мыслью о поступке и волевым усилием, чтобы совершить его, существует провал, заполняемый сном. Сон может быть коротким, зато глубоким. У человека несколько сущностей, и одна из них – спящая сущность. В этом смысле люди похожи на растения, у которых все бытие есть сон. Эти соображения произвели на меня глубокое впечатление. Полную правду о состоянии сна можно постичь только в перспективе бессмертия духа. Я никогда не сомневался в том, что дух мой бессмертен, но держал язык за зубами. А когда держишь язык за зубами, голова пухнет от мыслей и чувствуешь, что сползаешь в растительное царство. Даже теперь, говоря с культурным человеком, таким как Дурнвальд, я почти не упоминаю слово «дух». Рыжеватый лысый Дурнвальд уже в годах, но крепко сбит и наделен недюжинной физической силой. Он холостяк, у него странные привычки, но человек в целом добрый, несмотря на прямоту, властность и даже задиристость. Нередко Дурнвальд ругает меня, но только потому, что любит, иначе не удостоил бы своего внимания. Большой ученый, один из образованнейших людей на Земле, он придерживался рационалистических взглядов, однако никоим образом не был узким рационалистом-догматиком.

И все же я не смел при нем говорить о силе духа, отдельного от плоти. Он такие вещи не терпит и Штейнера не ценит. Суждения философии о сне Дурнвальд шуточно называл писаниной. Для меня же сон – дело нешуточное, но я не желаю, чтоб меня считали свихнувшимся.

Я стал много думать о бессмертии духа. По ночам мне снились успехи на корте. Снилось, как от моего удара слева мяч проносится над стенкой и падает в дальний угол, и я горжусь этой английской сноровкой. Снилось, как я побеждаю лучших игроков в клубе, тех самых худощавых быстрых волосатых парней, которые со мной вообще не желали играть. Меня разочаровывала мелкость моих мечтаний. Даже они погрузились в глубокий сон. Вы спросите: а деньги? Деньги – лучшая защита спящего. Расходы и траты заставляют бодрствовать. Чем чаще спишь, тем меньше тебе нужны деньги.

Несмотря на неподходящие обстоятельства (под неподходящими обстоятельствами я имею в виду: Ренату и Денизу, дочерей, адвокатов и суды, встряски на Уолл-стрит, сон, смерть, метафизику, карму, присутствие Вселенной в нас и наше присутствие во Вселенной), повторяю, несмотря на эти обстоятельства, я не переставал думать о Гумбольдте, моем дорогим

друге, ушедшем в нескончаемую ночь могилы, товарище по предыдущему существованию, любимом и мертвом. Временами воображаю, что я, может статься, встречу его в будущей жизни, как встречу мать и отца. И еще Демми Вонгель. Демми – одна из самых значительных фигур в сонме уснувших навсегда, ее вспоминаю каждодневно. Однако не думаю, что Гумбольдт явится таким, каким был в жизни, гоняя на своем «бьюике» со скоростью девяносто миль в час. Помню, сначала я смеялся, потом кричал от ужаса. Я был потрясен. Он вертел мной как хотел и осыпал благословениями. Гумбольдт обладал каким-то особым даром, благодаря которому улетучивались насущные заботы.

Рональд и Люси Кантебиле, напротив, прибавляли забот.

Хотя мне предстояла поездка и накопилась куча дел, я решил на день прервать свою кипучую деятельность. Следовало прийти в себя после вчерашних передрыг. Я решил сделать несколько медитативных упражнений, рекомендуемых Рудольфом Штейнером в его работе «Высшие миры и средства к их достижению». Желаемого результата я не достиг, и понятно почему. Мой дух не так уж молод, в нем накопилось порядочно грязи и следов от ушибов. Надо быть терпеливым, не спешить, прилагать поменьше стараний. Мне снова вспомнился мудрый совет одного французского мыслителя: «*Trouve avant de chercher*». Кажется, это сказал Валери – или Пикассо? «Бывают времена, когда самое практичное – это прилечь и забыться».

Поэтому на другой день после приключений с Кантебиле я устроил себе праздник. Погода стояла ясная и теплая. Я раздвинул ажурные шторы, прикрывающие уличный пейзаж, впустил в комнату солнечную золотистость и небесную голубизну (которые не гнушались пролиться даже на такой неприглядный город, как Чикаго). Насвистывая, я разложил гумбольдтовские дневники, записные книжки, письма на кофейном столике и на полке, прикрывающей радиатор за диваном. Потом снял ботинки и с чувством исполненного долга растянулся на нем. Под головой у меня была подушечка, вышитая одной молодой мисс (жизнь у меня насыщена женщинами; что поделать, таков сексуально озабоченный век). Звали ее Дорис Шельдт, она была дочерью антропософа, с которым я иногда консультировался. Дорис поднесла мне этот рукотворный дар на прошлое Рождество. Дорис была невысокой хорошенькой и умной женщиной с мужественным профилем. Она носила старомодные платья и походила в них на Лилиан Гиш или Мэри Пикфорд. Зато туфельки предпочитала куда более современные. На мой вкус, Дорис – *poli me tangerine*, попросту говоря, недотрога. Она жаждала прикосновений и боялась их. Знала толк в антропософии, и в прошлом году, когда с Ренатой вышла крупная ссора, мы много времени проводили вместе. Я располагался в плетеной качалке, а Дорис, поставив ножку в изящной туфельке на скамеечку, вышивала эту самую красно-зеленую, как раскаленные угли и молодая травка, подушечку. Нам было хорошо вместе, но потом все кончилось. Мы с Ренатой помирились.

Знакомство с папой и дочкой Шельдтами объясняет, почему предметом моих размышлений в это утро стал фон Гумбольдт Флейшер. Считается, что медитация укрепляет волю и при длительных упражнениях воля становится органом восприятия.

На пол упала помятая открытка – одно из последних посланий Гумбольдта. Выцветшие строки напоминали письма полярных сияний.

Сокол в небо – суслик в норку,
Сокол – прочь от самолетов,
Самолеты – от зениток.
Всяк трепещет перед кем-то,
Прячет шкуру от кого-то.
Только лев, облапив львицу,
Беззаботно спит под пальмой
После сытного обеда,

Кровью жаркою упившись.
– До чего прекрасна жизнь!

Когда лет восемь-девять назад я прочитал это стихотворение, то подумал: бедный Гумбольдт, эти эскулапы повредили тебе голову. Теперь я вижу: это не стихи, а завет. Художественное воображение не должно чахнуть в бездействии и не должно ничего бояться. Оно призвано снова и снова напоминать, что в искусстве проявляются внутренние силы и закономерности природы. Мне кажется, Гумбольдт именно это и хотел сказать. Если так, то к концу жизни он был более мужественным и здравомыслящим, чем когда бы то ни было. А я, как последний трус, сбежал от него на Сорок шестой улице, сбежал как раз в тот момент, когда ему было чем поделиться. Я уже упоминал, что в то утро я, весь из себя расфуфыренный, кружил над Нью-Йорком в вертолете береговой охраны с двумя сенаторами, мэром города, высокопоставленными чиновниками из Вашингтона и командой первоклассных журналистов – все с пристегнутыми ремнями, в надутых спасательных жилетах, с ножами (никогда не мог понять, как этими ножами пользоваться). После обильного ленча я, повторюсь, вышел из Центрального парка и увидел на тротуаре Гумбольдта, жующего подсоленный кренделек. На его лицо уже легла землистая тень смерти. Я кинулся прочь. Бывают моменты, когда человек не может стоять на месте. «Пока, парень, увидимся на том свете!» – пробормотал я и бросился бежать.

Тогда я был уверен, что ничем не в силах ему помочь. Но так ли это? Помятая открытка подсказала: нет, не так. Меня как током ударило: я предал друга. Я ложусь на диван с набивкой из гусяного пуха, чтобы погрузиться в медитацию, а вместо этого меня бросает в горячий пот от стыда и угрызений совести, представляете? Я вытаскиваю из-под головы подушечку, вышитую Дорис Шельдт, вытираю лицо и снова вижу себя, прячущегося за автомобилями на Сорок шестой, и жующего подсоленный кренделек Гумбольдта, он – как сохнувший куст, усеянный личинками короеда, – вижу человека, гибнущего на глазах. Я не выдержал зрелища умирающего, позвонил в приемную секретаря Кеннеди, сказал, что срочно вызван в Чикаго, а в Вашингтоне буду на следующей неделе. Потом взял такси, помчался в аэропорт Ла-Гардиа и первым же самолетом улетел домой. Я снова и снова возвращаюсь мыслью в тот день: он был ужасен. Две порции виски в самолете (больше не дают) не помогли. В баре аэропорта О'Хэйр я принял три или четыре двойных «Джека Дэниела». Был душный вечер. Я позвонил Денизе и сказал:

- Я вернулся.
- На несколько дней раньше приехал – что-нибудь случилось?
- Пришлось пережить несколько тяжелых минут.
- Где же твой сенатор?
- Еще в Нью-Йорке. Через пару дней снова махну в Вашингтон.
- Ну давай приезжай.

«Мой сенатор» – это Роберт Кеннеди. «Лайф» заказал мне о нем статью. Я уже провел с ним, вернее, около него, пять дней в Капитолии. Со всех точек зрения – это большая удача. Сенатор позволил наблюдать за собой и, кажется, привязался ко мне. Я говорю «кажется», потому что он должен произвести хорошее впечатление на журналиста, которому поручено написать о нем. Мне сенатор тоже нравился, почему – не задумывался. Взгляд у него какой-то странный. Глаза голубые и пустоватые, нижние веки немного опущены и образуют дополнительную складку на лице. После облета города вся компания ехала из аэропорта в Бронкс, и я был с ним в одном лимузине. Жара стояла невыносимая, но в машине было прохладно. Кеннеди нравилось, когда его обо всем информируют, и сам он постоянно расспрашивал членов вылазки. От меня он ждал исторических сведений. «Что нужно знать об Уильяме Дженнингсе Брайане?» – спрашивал он. Или: «Расскажите о Генри Менкене». Факты он воспринимал живо, но эта живость не позволяла мне судить, что он думает об этих фактах и как их использует.

В Гарлеме мы остановились у детской площадки – «кадиллаки», полицейские на мотоциклах, охрана, телевизионщики. Площадка между двумя домами была огорожена, выровнена, на ней, как водится, были горки, карусели, песочницы. Двух сенаторов встретил черный смотритель в псевдоафриканском одеянии и с такой же прической. Поднялись стрелы с телекамерами. Улыбающийся смотритель церемонно подал баскетбольный мяч сенаторам. Два раза кинул мяч стройный, небрежно-элегантный Кеннеди, и оба раза мимо. Промашнувшись, он кивал головой с густой рыжевато-шевелюрой и улыбался. Сенатор Джавитс не мог допустить промаха. Плотный, плешивый, он тоже улыбался, но принял перед корзиной стойку, прижал мяч к груди, напрягся. Оба его броска были удачны. Мяч попал в середину кольца и мягко прошел сквозь сетку. Раздались аплодисменты. С Бобби хлопотно и трудно сравняться, но сенатор-республиканец победил его.

Это была ее, Денизы, идея – чтобы я написал о Кеннеди. Она звонила в «Лайф», вела переговоры, и в конце концов еженедельник заказал статью.

– Ну давай приезжай, – сказала она, но в голосе у нее не было радости.

Жили мы с Кенвуде, это на Южной стороне, в одном из тех викторианско-эдвардианских особняков, какие понастроили богатые немецкие евреи в начале столетия. Потом торговые магнаты, владельцы фирм «Товары по почте», и другие финансовые воротилы отсюда разъехались, их место заняли университетские профессора, психиатры, правоведы, богатые черные мусульмане. Я хотел жить в Чикаго, стать Мальтусом в области хандры, а Дениза купила дом у Канхеймов. Она сделала это под моим нажимом: «Почему именно в Чикаго?! Мы могли бы жить где угодно. О Господи!» «Где угодно» – это дом в Джорджтауне под Вашингтоном, или в Риме, или на худой конец в престижных кварталах Лондона. Я заупрямился, и Дениза прокомментировала: «Надеюсь, это не признак нервного срыва». Ее отец, федеральный судья, был многоопытным юристом. Она постоянно советовалась с ним по вопросам собственности, совместного проживания, прав вдов в штате Иллинойс. Он-то и посоветовал нам купить дом у полковника Канхейма. Каждый день за завтраком Дениза спрашивала, когда же я наконец составлю завещание.

Было уже поздно. Она ждала меня в спальне. Я ненавижу кондиционеры и запретил Денизе ставить эту дьявольскую машину. Та ночь была до жути жаркая, температура поднялась выше девяностоградусной отметки – это за сорок по Цельсию! В такие ночи чувствуешь душу и тело Чикаго. Хотя в городе больше нет ни скотопригонных загонов, ни боен, но в ночную жару оживают старые запахи. Когда-то железнодорожные пути, забитые составами со скотом, проходили по улицам. Скотина мычала и унавоживала вагоны. От клочков голой земли временами исходит застарелая вонь, напоминая, что в свое время Чикаго держал мировое первенство в технологии убоя скота и здесь погибли миллиарды голов. Сейчас окна в доме были распахнуты настежь, и в нос били знакомые отвратительные запахи паленой шерсти, разделанных туш, крови, перемолотых костей, сырого мяса, сала, копченостей, моющих средств. То доносилось смрадное дыхание старого Чикаго. Я слышал утробный истеричный вой пожарных сирен и карет «скорой помощи». В летнюю пору резко возрастает число возгораний, особенно в трущобах, где живут черные. Некоторые объясняют это отклонениями в психике. Однако поклонение огню носит также религиозный характер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.